

В. Т.
НАРЕЖНЫЙ

Сочинения



Василий Трофимович Нарезный Запорожец

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2548245

В.Т. Нарезный. Сочинения: М.; 2011

Аннотация

В повести «Запорожец» Нарезный обратился к прошлому родной Украины, создал своеобразный очерк жизни Запорожской Сечи, используя при этом фольклорно-этнографический материал, народные рассказы и предания. Однако писатель не стремился к исторической достоверности изображаемых им событий, привлекаемый материал служит лишь фоном для развития приключенческого сюжета в духе европейских приключенческих романов XVIII в.

Содержание

1	113
2	114
3	115
4	116
5	117
6	118
7	119
8	120
9	121
10	122
11	123
12	124
13	125
14	126
15	127

Василий Трофимович Нарезный Запорожец

Едва вошло осеннее солнце над необозримыми равнинами моря Черного, вся Запорожская Сечь зашумела. Бесчисленное множество народа толпилось на обширной площади, пред храмом угодника Николая. Громкой звон колоколов потрясал воздух. Звук труб и литавров далеко расстилался по ровному полю и гладкой поверхности моря.

Радостный говор народа изъявлял всеобщее восхищение.

Что ж было виною сего торжества всеобщего? Еще на заре утренней прискакал гонец с радостным известием, что войсковою атаман Авенир Булат, по весне отправившийся с отборною дружиною для усмирения хищных закубанцев, возвращается восвояси с полною победой и богатою добычей. Он просил духовенство не начинать литургии, пока не вступит в Сечь, дабы воины, столь долго лишившиеся счастья слышать слово божие, при самом появлении в пределы места драгоценного, могли сего сподобиться, облобызать крест господен и окропиться водою священою.

С постепенным возвышением солнца нетерпение народа возрастало. То глубокое молчание, то шумные восклицания измеряли время. Наконец, с восточной стороны поднялась в поле пыль высокая; еще одно мгновение, и все увидели развевающуюся в воздухе хоругвь Запорожскую. Кто опишет радостное смятение обитателей Сечи, их крики, вопли и завывания? Но увы! прибывший с радостным известием гонец, по именному велению атамана умолчал, что этот храбрый муж, этот достойный предводитель получил две глубокие раны, одну в грудь, другую в голову. Не имея сил сам собою держаться на коне, он ехал, поддерживаемый с каждой стороны казаками; двое вели за узду унылого коня его. За ним несли хоругвь, и храбрая дружина следовала с поникшими взорами. Вздохи теснили грудь каждого, и щеки омочены были обильными слезами. Они не смели взглянуть на оставшихся в Сечи товарищей, стыдясь во взорах их встретить достойные упреки, что сами возвращаются в совершенной целости, кроме нескольких, падших на поле решительной битвы, а не умели сберечь храброго вождя своего.

Когда Авенир поровнялся с дверьми церковными, то по данному им мановению коня его остановили. Духовенство приблизилось к нему с крестами и хоругвиями священными.

Но, взглянув на бледное лицо атамана, едва испускающего дыхание, оно остановилось с ужасом. Все людство, толпившееся вокруг его, узнав причину поражения духовных, восстало, подняло вопль горестный и возрыдало. Мгновенно колокольные звонь и звуки трубные умолкли, и не было бы конца общему смятению, если бы сам Авенир не дал знака к молчанию. Глубокая тишина распростерлась; он собрал силы и – хотя голосом слабым, но довольно внятным – произнес: «Почтенные отцы духовные и вы, дети мои, казаки запорожские! Неужели последним подвигом не заслужил я, чтобы встретили меня с веселием, как всегда встречали доселе возвращавшегося из походов? Неужели раны, атаманом вашим полученные, могут пристыдить вас при свидании с родными нам малороссиянами или безбожными агарянами? Или дорогою ценой купил я победу и приобрел корысти? Обозрите все, сочтите – и будьте веселы!

Двадцать храбрых казаков пали на месте битвы, до сорока ранены. Зато получили мы, если не навсегда, по крайней мере на долгое время, спокойствие; в плен взято около тысячи мужей, жен и детей обоего пола; отбито пятьсот коней, триста волов, бесчисленное множество овец, несколько дюжин ружей, пистолетов, сабель, дорогих ковров и связок шелковых и бумажных тканей. Посредством торго с соседними

турками и татарами обратите всю добычу в серебро и золото. Десятая часть – по установлению нашему да посвятится на украшение храма угодника божия; что достанется на мою долю, если к тому времени угодно будет провидению воззвать меня к иной жизни, да будет вручено по равным частям этим четверым моим провожатым, сему старцу Вианору и этим юношам: Астиону, Эрасту и Крониду. Они же должны быть наследниками и прочего имущества, трудами моими приобретенного. Теперь уготовьте для меня одр у этих врат церковных. Возлежа на нем, я хочу услышать, может быть в последний раз, святое слово божие и помолиться благому милосердию об отпущении многочисленных грехов моих».

В ту же минуту исполнено было желание Авенира. Погребательный одр поставлен на месте назначения и покрыт ковром драгоценным. С величайшею осторожностью сняли его с коня и усадили на сем ложе. В головах стал знаменосец, имея по обе стороны Вианора и Астиона; в ногах стояли Эраст и Кронид; все воинство, бывшее с ним в походе, стало в полуокружии. Во время священнодействия глаза Авенира обращены были к небу; время от времени делал он крестные знамения довольно твердою рукою и, несмотря на раны тяжелые, кланялся низко. По окончании литургии духовенство вышло на крыльцо цер-

ковное, где, во-первых, отправлена панихида о успокоении душ воинов, на брани убиенных, потом пропето многолетие православному царю московскому, а наконец совершенно водоосвящение, и все распущены по куреням. Знамя Запорожское торжественно внесено в церковь, а одр с атаманом поднят и отнесен в дом его, стоявший близ самого храма. Там уже дождал его славный врач Сатир (славный потому, что был один во всем Запорожье, где каждый больной лечился как знает), польский уроженец, проживавший с семейством на хуторе.

По осмотре ран и промывии оных Сатир сказал окружавшим постелю атамана: «Если бы раны были свежи, то я сейчас сказал бы, чего надеяться можно. Но как они довольно долго оставались без всякого врачевания, то будьте терпеливы до завтрашнего полудня. Мази мои спасительны и составлены по рецептам знаменитейших врачей, которые тех только не принимались пользоваться, у коих головы были уже отрублены».

По окончании перевязок Авенир объявил, что чувствует склонность ко сну, почему приказал удалиться всем, исключая престарелого Вианора, который при нем и остался.

Врач Сатир, получивший за посещение щедрую плату, поскакал в хутор, а печальные Астион, Эраст и

Кронид, повеся головы, побрели в курень свой, близ атаманского дома устроенный, где они, с тремя прислуживавшими им казаками, все жили вместе. Кто ж такие, этот старик Вианор и эти трое молодых казаков, коих атаман отличал от прочих, имел к ним неизменную доверенность и обходился не как добрый начальник, но как самый ближний, нежный родственник, хотя они и сами не знали, кто такие были, откуда и каким роком в начале отрочества попались в Сечь Запорожскую? Это мы увидим впоследствии.

Под вечер они все трое получили повеление явиться к Авениру, которого и нашли гораздо в лучшем состоянии, нежели в каком оставили. Он сидел на постеле и в самом деле был бодр и весел, или только хотел таким казаться.

Комната освещаемая была слабым светом лампы, горевшей пред образом. Он указал пальцем на скамью, стоявшую в ногах постели, и они сели. Авенир стал подле них, опершись на столбик кроватный. Тогда Авенир, помолчав несколько, сказал: «Пора нам, друзья мои, короче между собою познакомиться. Хотя мы живем здесь около двадцати лет, но вы столько ж знаете меня, сколько один другого, сколько каждый знает самого себя, то есть нисколько. Будьте внимательны к словам моим; они очень для вас важны.

Чтобы не расстраивать меня в сем болезненном состоянии, я требую, чтоб никто из вас не прерывал меня в повествовании, хотя бы некоторые обстоятельства сильно кого-нибудь из вас тронули. Слушайте.

Вы видите во мне единственного сына маркиза де Газара, богатейшего помещика в Лангедоке, но зато самого надменного, своенравного, непреклоннейшего из всей области.

Обыкновенно половину года проживали мы в Париже, а другую в деревне. Находясь в городе, я занят был всегда то ученьем, то искусствами, то посещением домов, знакомых отцу моему, и время текло хотя единообразно, следственно – довольно скучно, однако сносно. До двадцатидвухлетнего возраста я не знал других чувствований, кроме страха к самовластному отцу, почтения к моему ментору и совершенного равнодушия ко всему, меня окружающему.

Мне сказывали, что мать моя была добрая, кроткая, снисходительная женщина, а потому я мог бы ощущать и четвертое чувствование – любовь ко всему изящному, но она умерла, когда я ничего еще не мог чувствовать.

В 1-й день апреля, в который исполнилось мне двадцать два года, я позван был в кабинет отца моего. Облобызав по обыкновению его руку, я равнодушно ожидал приказаний, мало заботясь об исполнении

оных, ибо грозный, вечно недовольный взгляд отца мало-помалу произвел в сердце моем какое-то онемение, так что для меня все равно было слышать: «Леон! ты поступил в том и том очень разумно, я тобою очень доволен!» или: «Леон! ты сделал преглупый такой-то поступок, и маркиз Газар стыдится иметь тебя своим сыном!» или: «Леон! ты поступил в таком-то случае как настоящий мещанин! Если впредь также провинишься, то сошлю тебя в деревню и посажу в тюрьму на целые два года. Не забывай даже во сне, что ты теперь граф Бонвиль, а по кончине моей примешь на себя знаменитое имя маркиза Газара. Поди вон и целые два дня не смей показаться на глаза мои!» Я почтительно кланялся, уходил, и если бы он не призывал меня по прошествии сего срока, то я готов бы был не видеть его хоть двадцать лет. Может быть, вы, друзья мои, подумаете, что бог одарил меня тем правом, что я, смотря на предметы равнодушно, и в самом деле был бесчувствен? Совсем нет! Если можно иногда пылинку по подобию сравнивать с огромною горою, то я скажу, что сердце мое в тогдашних обстоятельствах подошло горе Этне, покрытой снегом. Все на ней, по-видимому, покойно, но в недрах ее клубятся целые реки огненные, и как скоро прервут они оплоты, их удерживавшие, то какая сила человеческая остановит их порывы? Я сделал

сие отступление нечаянно, по кстати. Теперь вы в начертанной мною картине видите отца моего и меня в настоящих видах.

Помнится, я остановился на том, что в день моего рождения потребован был к отцу. Он принял меня дружелюбнее обыкновенного, приказал сесть против себя и сказал:

«Леон! с сего часа ты перестаешь быть мальчиком и делаешься настоящим молодым человеком, который имеет право управлять своими поступками под надзором одного отца своего. Вчера еще, одарив щедро твоего ментора, я отпустил его; составил для тебя особый штат и назначил в доме особое отделение. Живи как хочешь; но отнюдь не забывай, что ты граф Бонвиль и по времени будешь маркизом Газаром. Каждый шаг твой будет мне известен, и если хотя одним недостойным словом или низким взором обеславишь высокое свое звание, то от одного мановения моего все величие твое улетит дымом на воздух, вся знаменитость лопнет, как мыльный пузырь. Через несколько дней мы едем в Лангедокский замок и пробудем там до осени. По возвращении в Париж я куплю тебе роту в котором-либо полку королевской гвардии или армейский полк, или камергерский чин, смотря по обстоятельствам; потом выберу тебе невесту, ибо у меня на примете есть две; ты женишься и будешь ис-

кать счастья или при дворе, или в поле. Это зависит будет от выбора невесты».

Мы скоро прибыли в Лангедокский замок, и отец мой повестил о том соседнее дворянство заведенным порядком, т. е. приглашением на великолепный обед и просьбою, которая значила дозволение, посещать его во всякое время. Он и подлинно принимал всегда и всякого ласково, но никого не удостоивал взаимным посещением. Я занимался чтением, прогулками и охотой. Мне позволено даже было заходить иногда к кому-либо из дворян на завтрак и на обед.

«Граф! – говорил мне отец однажды, – что было бы непростительно для меня, за то свет с тебя не взыщет. Ты еще не самовластный господин и не составляешь собою члена в государственном теле. Когда же сделаешься маркизом Газаром, то непременно должен совершенно перемениться.

Смотри только внимательно на мое поведение и одного этого образца для тебя довольно».

В одно прекрасное утро, в средние мая, одевшись в охотничье платье, в сопровождении одной собаки вышел я из замка. Я не был страстным охотником, а потому мало заботился, что почти совсем не встречал дичи, а где и попадалась она, то я на воздух трагил заряды. С меня довольно было проходить прелестные поля, смеющиеся долины и привлекатель-

ные рощи, смотреть на все эти красоты природы, которыми благое небо преимущественно одарило стороны полуденные. Идучи далее и далее, я наконец очутился в таких местах, где не бывал от роду. Новизна эта еще более меня пленила. Солнце было уже в полуденной точке.

Голод и жажда начали меня беспокоить. Не может быть, думал я, чтоб в такой восхитительной стороне не было ни одного помещичьего замка или по меньшей мере аренды.

Я бодро пошел далее, и, едва выбрался из тенистой липовой рощи, как в двухстах шагах представился мне небольшой, но красивый домик, а невдалеке деревня, прекрасно отстроенная. Я прислонился к дереву и размышлял: к кому мне пожаловать, к господину ли дома или к деревенскому старосте. Надумавшись, я сказал вслух: «На что беспокоить помещика и притом незнакомого? Не лучше ли отобедать в деревне за деньги, так еще доставлю тем выгоду какому-нибудь поселянину!» – Я сделал шаг вперед и остановился, услыша по правую сторону голос: «Какие расчеты!» – Я оглядываюсь и вижу в пяти шагах от себя кавалера Ле-Льевра, человека пожилого, но самого забавного, шутливого.

Он часто посещал замок Газар, и мы давно обращались с ним на приятельской ноге. «Как? – вскричал

я, подошед ближе и обняв его, – какими судьбами вас здесь вижу?» – «Я с большим правом могу вам сделать этот вопрос, – отвечал он, – ибо вижу вас от замка Газара за четыре добрые мили, а вы видите меня подле моей хижины. Вот она!»

Он, так сказать, потащил меня с собою; мы скоро вошли в гостиную, и я представлен был малочисленному семейству кавалера. Оно состояло из пожилой жены его, по виду женщины простой – во всем значении сего слова, молодого сына, служащего в армейском полку поручиком и обыкновенно во время отпусков проживавшего в отцовском доме, и дочери Юлии, прекрасной шестнадцатилетней девушки.

Обед был небогатый, но весьма довольный. По окончании оною Юлия повела нас в сад, показала цветник ее саженья, кусты розовые и яминные, за коими ходила; в беседке играла на лютне, пела прелестные романсы, словом обворожила всех и в особенности меня. «Несравненная девушка, – говорил я, едуци около полуночи домой на верховой лошади кавалера, – как прекрасно цветешь ты в уединении!

Какая из всех виденных мною красавиц парижских может сравниться с тобою в простоте, любезности, привлекательности?!»

Редкий проходил день, чтобы я не был в поместье Ле-Льевра; не было минуты, чтобы не думал о его до-

чери, и в течение трех месяцев любовь моя возшла на высшую ступень. Юлия была чистосердечна, как аркадская пастушка^{1}, и в первые недели знакомства нашего, когда я осмелился объявить ей беспредельную страсть свою, она со всею свободою невинности открылась, что с первого на меня взгляда полюбила от всего сердца и ничего столько не желала, как принадлежать мне. Чего не доставало к моему благополучию? Ах! весьма многого. Как ни стремилось сердце мое открыться перед маркизом, сколько раз ни решался я при первом свидании объявить ему о своей страсти и умолять о согласии, но, увидевшись с ним, взглянув на гордую осанку, на свирепый или, по крайней мере, на туманный взор, я колебался, умолкал и приведение к концу своего намерения откладывал до другого времени.

В одно утро, узнав, что отец мой прогуливается в саду, я укрепился в сердце, нашел его и, несмотря на грозный взор, стал на колени и довольно твердым голосом сказал:

«Ваше превосходительство! (Я никогда не смел называть его именем отца.) дозвоьте мне открыть пред вами сердце мое». — «Завтра! — отвечал он голосом пасмурным, — завтра я выслушаю тебя». — Он удалился, не удостоя меня дальнейшего объяснения. Боже! Что тогда чувствовал я в душе своей? Если за-

коны природы неизменны, то почему одно лицо обязано любовью к другому, которое платит за то ненавистью? Тронутый таким хладнокровием отца, оставившего меня на коленях, не выслушав о причине такого унижения, я поклялся в душе моей – лучше погибнуть, чем оставить Юлию и жениться на невесте, какая мне предназначена будет упрямством гордого властелина.

На другой день, рано поутру, я получил повеление садиться в карету и ехать – куда повезут. Приготовив прощальное письмо к Юлии, в коем торжественно обещал ей свою руку, я сел в карету вместе с моим камердинером, Клодием, росшим при мне с самой колыбели. Он был несколькими годами старше меня, и его преданность, расторопность, всегдашняя готовность к услугам сделали его для меня необходимым. Нетрудно будет вам отгадать, куда снаряжена была сия поездка. Мы прибыли в свой парижский дом, и прежняя несносная жизнь началась. Однако надобно отдать справедливость, что отец мой день ото дня становился ласковее, приветливее. Под конец осени я немало был удивлен появлением доброго Клодия с новою парюю блестящего мундира. «Поздравляю вас, – сказал он, – с королевскою милостью! Вы теперь полковник драгунского полка, расположенного недалеко от границ испанских. По воле его превосхо-

дительства, извольте одеться в это платье и явиться к нему».

С удовольствием принял я сей подарок (да и кого не прельстил бы он в мои лета?), поспешно оделся и полетел к отцу с благодарностью. «Граф! сказал он с возможною важностью, – теперешним счастьем своим обязан ты другу моему, Д*, а вскоре, надеюсь, ты будешь благодарить его за большой знак милости. Мы сегодня у него в доме обедаем».

У маршала Д* я никогда не был и даже мало знал его лично, а потому во время езды терпеливо слушал отцовские наставления, как должен я вести себя в присутствии его светлости. Прибыв в палаты сего вельможи, я нашел огромное, блистательное общество, был представлен хозяину и его семейству, и не прошло часа, как я возненавидел маршала за непомерную спесь и самохвальство его, ощутил презрение к жене его, истинной кокетке, и еще большее отвращение к тридцатилетней дочери их, столь же надменной, как отец, и такой же кокетке, как мать. За нею увивалось множество щеголей разного рода, и она смотрела на искательство их как королева, удостоившая кого-нибудь из подданных милостивого взгляда. По окончании великолепного обеда гостей ввели в огромную залу, где увидел я воздвигнутый жертвенник и подле него епископа в приличном облачении. Не

понимаю, как это случилось, только я, ведомый отцом за руку, очутился у алтаря, и в ту же минуту явилась подле меня Аделаида, дочь маршала. Я остолбенел, оцепенел, окаменел и тогда только несколько опомнился, когда сперва епископ, а после отец мой, а там маршал и многие из гостей начали поздравлять меня с благополучным совершением вожделенного брака. Аделаида с великою важностью подала мне руку для поцелуя; но я чувствовал, что губы мои дрожали и были как ледяные. Зачем описывать окончание сего горестного дня? Увидясь один на один с отцом, я сказал: «Вы сделали меня на всю жизнь несчастным, но не думаю, чтоб от того сами были счастливее». Свирепый взор его был ответом.

Среди беспрестанных горестей, тоски, мучения прошло более полугода, и Аделаида уведомила меня о своей беременности. Я не знаю, как назвать тогдашнее чувство, какое ощутил я при сем известии. Это была смесь удовольствия, беспокойства, неприятности и досады. Однако с самого того времени я стал ласковее смотреть на жену свою, но вместе с тем заметил, что и она не менее ласково смотрит на статного, пригожего камергера Флизака, и надо отдать справедливость, что его геркулесова наружность была весьма обольстительна для всякой Омфалы^{2}. Открытие сие крайне меня осердило. Как, думал я, бу-

дучи страстно влюблен в Юлию, я не позволял себе даже и подумать о неверности, а ненавистная Аделаида – нет! Как скоро удостоверюсь в измене, то – по гибель преступникам неизбежная.

По кончине отца решился я оставить опротивевший Париж и отправился к полку, на границу Франции. Тем самым думал я избавиться присутствия опасного придворного, не навлекая на себя нареkania, неразлучного с названием ревнивца.

Первые месяцы пребывания моего в полку прошли довольно спокойно, или – по крайней мере – сносно. Аделаида родила сына, которого нарек я Леонардом. Хотя я, по смерти отца, сделался маркизом Газаром и обладал весьма большим имуществом, однако, несмотря на все убеждения моей маркизы, настоятельно требовал, чтобы она кормила дитя своею грудью, в противном же случае грозил отнять от нее навсегда сына. Это устрашило Аделаиду: она решилась преодолеть отвращение и сделаться кормилицею.

Это звание тем более пугает знатных женщин, что они в это время должны отказаться почти от всякого развлечения. Приятно ли в самом деле маркизе Газар, дочери маршала Франции, принять кого-либо из гостей, а тем менее побывать в каком-нибудь блестящем обществе с запачканным ребенком и позволять ему пред всеми играть полусокрытыми ее пре-

лестями. Она часто задумывалась, просиживала долгое время, не произнеся ни слова, или уединялась в свою комнату, по нескольку часов проводила там, запершись с своею верною Перретою, которая некогда нянчила ее на руках своих и была доселе в неизменной доверенности. Такие поступки жены моей я причитывал скуке и казал вид, что ничего особенного не примечаю.

Наконец, по прошествии года после рождения моего сына, по совету медиков, младенец отнят от груди, и жена моя в первой раз приятно улыбнулась. Она с приметным удовольствием передала его с рук своих в руки няnek и мамок и с величавым видом ушла на свою половину. Такой поступок матери мне крайне не понравился, но мало ли что не нравилось мне со времени роковой женитьбы! Я нимало не думал возбранять Аделаиде в принятии гостей и в разъездах куда хочет; а она с своей стороны не считала за нужное просить от меня дозволения посмотреть на свет после годичного своего заключения.

Недель около двух после этого, в одно прекрасное майское утро, вошел ко мне честный Клодий с видом крайне пасмурным. Хотя со времени моей женитьбы я никогда не видывал его прямо веселым, но также он не бывал и печален. Посему с удивлением я спросил: «Что это значит, Клодий, что ты в весеннее

утро, под полуденным небом Франции, смотришь, как в зимнюю пору камчадал, одержимый цинготною болезнию». – «Ваше превосходительство, – отвечал он со вздохом, – дай бог, чтоб мой вид обманул вас и чтоб мое подозрение было не вернее, как грезы страждущего горячкою». – «Однако говори скорее, – сказал я решительно, – какое подозрение? в чем? на кого?» – «Мне больно, отвечал Клодий, – сердце мое трепещет от ужаса, если я в доброе, невинное сердце ваше волюю полную чашу горести; но что ж мне делать? Когда я, будучи лет пятнадцати, а вам было с небольшим десять, важивал вас в садах Газарского замка, с того времени поклялся неизменно к вам верностью, хотя бы кто потребовал от меня измены с опасением потерять жизнь. Слушайте:

Вчера, иод вечер, зная, что за мною никакого не будет дела, пошел я в сад и, залегши в жасминных кустах у большой беседки, предался размышлению и неприметно задремал. Не знаю, долго ли я пробыл в сем положении, только громкий смех разбудил меня, и я начал прислушиваться.

Вскоре различаю знакомой мужской голос, не могли припомнить, чей именно: „И прощай, верная Перрета! Вот тебе письмо и двадцать червонных. При первом удобном случае доставь письмо по принадлежности, а деньги возьми себе на башмаки. Будь

уверена, моя дорогая, что услуга твоя забыта не будет, как и все прежние никогда не забывались“. – „Простите, г-н Флизак, – отвечала Перрета, – и будьте уверены, что как прежде, так теперь и впредь я готова усердно служить благородным и благодарным людям.

Надеюсь, что если не сегодня, то навверное завтра вы на опыте узнаете, можно ли всегда полагаться на обещания Перреты“.

Они расстались, я немного приподнялся и видел, что г-н Флизак, приближаясь к калитке у ограды сада, отпер ее (вероятно, поддельным ключом) и скрылся. Перрета хотя проворно пробиралась в дом, но была мною настигнута на самом крыльце. Слыша топот бегущего человека, она оглянулась и, увидев меня, несколько изменилась в лице и спросила: „Ты где был, Клодий? и куда так спешишь?“ – „Прогуливался, – отвечал я простодушно, – в саду, вот там (указав в противную сторону той, где были камергер и Перрета); но, увидя издали, что ты бежишь в господский дом, почел, что маркиз меня, а маркиза тебя спрашивают, бросился со всех ног, чтоб опередить тебя и доказать, что я первому не менее предан, как ты последней“. – Едва мы прошли коридором к парадному входу, как увидели, что карета маркизы быстро выезжала за ворота. Перрета показала недовольный вид и пошла на свою половину, а я от всего сердца радовался, что по

крайней мере на сей день мой добрый господин избавлен будет от предательства.

Я пошел к крестовой сестре моей, Маше, которая выдана вами замуж за храброго Мартына, капрала полка вашего, упросил, чтоб она в сей же вечер назначила домашнюю вечеринку и самолично уговорила г-жу Перрету быть участницей в весельи. „Вот тебе на расход деньги, – сказал я, – но смотри, – никому ни слова“. Как хотелось, так и сделалось. Я также присутствовал на этом пиру. Много было закусок, а вин и того больше. Когда готовились потчевать гостей шампанским, я, отведши Машу в другую комнату, сказал: „Налей для г-жи Перреты бокал побольше других и подай мне“. Когда это было исполнено, то я всыпал туда заготовленный мною сонный порошок. Маша переменилась в лице и спросила: „Что это значит, братец?“ – „Разве ты считаешь меня ядотворцем? – отвечал я строгим голосом. – Кажется, ты давно знаешь крестового брата своего! Успокойся Маша! Этот порошок имеет силу, что тот, кто его выпьет, сделается гораздо веселее обыкновенного. Поди к Перрете, проговори почтительную речь и поднеси бокал, а я с большим подносом подойду к прочим гостям“. По желанию моему все исполнилось. Вскоре Перрета начала зевать, жмуриться и потягиваться. „Что за напасть, сказала она едва внятным голосом, – я, кажется, выпила

не больше других а сон так и валит с ног. Г-н Клодий! потрудись проводить меня до коляски“. „Г-жа Перрета! – Отвечал я с видом усердия – что хорошего, когда я привезу вас в дом маркиза спящею и должен буду до вашей спальни нести на руках! Еще не поздно, и нас увидят все челядинцы. Явный соблазн! Не лучше ли вам часа на два отдохнуть на постели Машиной, а я даю честное слово дожидать вашего выхода“. – Перрета лишилась употребления языка, сделала рукою знак согласия; я и Маша повели ее в спальню и уложили на постель. Тотчас начал я шарить в ее карманах, с трепетом выхватил нужное мне письмо и спрятал. „Машенька! – сказал я изумленной сестре, – будь спокойна. Эта одна бумага и была только мне надобна. Вероятно, Перрета проспит до позднего утра; не беспокой ее. Когда ж проснувшись будет усиливаться уйти домой, то постарайся удержать ее, пока не явится сюда присланный от маркиза с дальнейшими приказаниями“.

Вот все, милостивый государь, что я сделал; не знаю доньне и сам, хорошее ли или худое. Возьмите письмо и читайте. В ближней комнате буду ожидать ваших приказаний».

Клодий вышел. Я сидел в креслах, подбоясь египетскому Мемнону^{3}, т. е. склоня голову назад, устремля глаза к небу и положа руки на колена. Мрачные мыс-

ли, подобно громовым тучам, клубились в голове моей. Холодный пот показался на лбу; сердце то непомерно трепетало, то совсем замирало. Какое ужасное положение!

Однако ж я скоро собрался с духом. Выражения отца моего пришли мне на память. Сердце наполнилось твердостью; я встал, начал ходить по комнате, вертя в руке проклятое письмо, и говорил: «Будь мужествен, маркиз Газар!

Прилично ли благоразумному человеку печалиться и впадать в мучительное уныние от того, что женщина, называвшаяся его женой, сделалась распутною, бесчестною! Разве тина, в коей погрязает она против моего чаяния, может опятнать почтенное имя мое?» — Конечно, по принятому мнению, мщение в таком случае необходимо; но благоразумие и справедливость требуют, чтоб мы как можно внимательнее рассматривали, в чем состоять должно это мщение.

Я сел хладнокровно, по-видимому, в кресла, развернул письмо и прочел следующее:

«Милая, бесценная, но чрез меру жестокая Аделаида!

Когда я в прелестных объятиях твоих упивался блаженством неизъяснимым, я не жаловался, что ты, исполняя строгое повеление отца жестокосердого, согласилась сделаться женою неизвестного тебе дере-

венщины, но утешался мыслию, что я был любим тобою. Я также не жаловался, что ты, следуя глупому требованию твоего педанта, целый год решилась просидеть в скучном уединении, питая грудью сына твоего Аргуса^[4]. Теперь я имею полное право на тебя жаловаться. Как! Ты более двух недель выезжаешь из дому, а не вздумаешь навестить приятной пустыни в полумиле от города, обитаемой твоим придворным затворником.

Неужели Перрета подробно о сем тебе не растолковала?

Не может быть! Проживая здесь около месяца, я более десяти раз с нею виделся и всякой раз получал удостоверения, что ты обо всем знаешь. Постарайся ж, обожаемая Аделаида, исправить свой проступок, и чем скорее, тем лучше. Я приложу все старание, чтоб вознаградить тебя за то мучение, которое неминуемо должна была ты чувствовать, находясь более года в пытке. Ах! Как героически ты умела перенести оную! Прости, дражайшая! Дети наши здоровы и заочно обнимают милую маменьку. Их хорошо воспитывают в известных тебе местах. Девятилетний Эмиль – настоящий я, а семилетняя Адель – истинный образ юной Аделаиды. До прибытия твоего в мою пустыню нетерпение мое прижать тебя к моему сердцу будет возрастать ежеминутно. А проpos! Присланные тобою в на-

чале минувшего апреля двадцать пять тысяч ливров, увы! улетели на воздух невозвратно».

Прошу вас, молодые друзья, судить о моем отчаянии, бешенстве. Я так поруган, обесславлен! И эта вероломная была уже дважды матерью до нашего ненавистного союза!

И сделавшись женою, она не ужасалась быть прелюбодеицею! О отец мой! Как извинишься ты пред высшим правосудием, что сына своего сделал злополучным и, может быть, злополучным до гроба.

Пробыв около получаса в этом ужасном смятении чувств и предпринимая разные планы к отмщению, я наконец решился. Первый и ближайший предмет этого мщения была бесчестная Перрета, которая, по всему вероятно, повергла склонную к распутству Аделаиду в доме родительском в объятия порока, как сделала после в доме мужа и как готовилась и впредь делать.

Быв командиром полка моего имени и вместе комендантом города, им занимаемого, я написал приказание смотрителю смирительного дома, чтобы распутную Перрету, взяв из рук, приведших ее, держал там во всю жизнь ее.

Призвав Клодия, я сказал: «Ты заслуживаешь всю мою благодарность за то, что еще довольно рано открыл мне заблуждение; и я спрашиваю, чего ты от ме-

ня за то просишь?» – «Того, – отвечал добрый Клодий, – чтоб вы никогда меня от себя не отдаляли, хотя бы судьба занесла вас в землю камчадалов или караибов^[5]; ибо, сколько могу догадываться, на этом месте вы недолго пробудете». – «Даю торжественное слово исполнить твое желание, – вскричал я, – а теперь явись к капитану 1-й роты и объяви мое приказание отпустить с тобою двух гренадеров; арестуй Перрету, отведи в смирительный дом и этот пакет отдай смотрителю оного». – «О! – вскричал радостно Клодий, схватив пакет, – это приказание исполню я с большим успехом и радостью, нежели если б вы сказали: „Клодий! поезжай в Париж и от банкира моего потребуй сто тысяч ливров. Вот тебе доверенность!“» – Он выбежал из комнаты, а я продолжал обдумывать средства, как скорее и удобнее привести в исполнение мои намерения.

В тот же день приготовил и отправил я к моему нотариусу, в Париж, форменное полномочие на продажу всего моего имения, исключая замок Газар, в коем покоились прахи моих предков, и на перевод вырученных денег в Мадридский банк. После этого, призвав Клодия, возвратившегося уже домой по точном исполнении моего приказания относительно Перреты, сказал: «Ты справедливо заметил, верный Клодий, что здесь случившееся и впредь случиться могущее не

дозволяет мне оставаться долее в своем отечестве.

Надо будет искать его под чужим небом. Но бог везде правосуден и благ, везде есть честные и бесчестные люди. Я думаю ехать в Испанию, как ближайшее королевство, из которого уже на корабле можно достигнуть всякого места, какого пожелаешь. Но должна ли непотребная мать спокойно смотреть на моего сына, играющего на ее коленях, и смеяться терзаниям отца его? Нет! Этого не будет! Сын мой должен предшествовать мне в Испанию. Надеешься ли ты, Клодий, что нянька Леонардова, Тереза, к которой он весьма привязан, согласится оставить с ним отечество? а к другой привыкать будет для него трудно!» – «Почему ж не так? отвечал Клодий. – Впрочем, в ее согласии нет особенной надобности. В назначенный вами час подвезена будет карета. Тогда объявлю я г-же Терезе, что ваше превосходительство желает недели на две посетить свой прародительской замок Газар, но что вместе с тем требуете, чтоб и сын ваш был с вами; а потому благоволила бы се милость сесть с своим питомцем и крестовою сестрою моею, Машею, в карету, а двое верных слуг, Петр и Никар, будут сберегателями их в дороге. Таким образом простодушная женщина и не увидит, как очутится за границую». Я одобрил план этот и приказал сколько можно скрытнее готовить все, нужное к спокойному путе-

шествию дитяти.

Сделав распоряжение о двух важнейших предметах, то есть о сбережении имения и сына, я стал с довольным спокойствием разбирать свое бюро, пересмотрел все бумаги, бесчисленное множество передрал, а остальные необходимые спрятал в небольшом ларчике. После этого собрал рассеянные по разным местам драгоценности, как то: брильянтовые и золотые вещи, уложил в другой ларчик, а все серебряные рассудил раздарить слугам и служанкам. Наличных денег было у меня до двух тысяч червонных: эту сумму полагал я достаточною на издержки до прибытия в Мадрид В таких занятиях, конечно, горестных, прошел весь день, и я, подремав несколько в креслах, встал с самым рассветом дня, столько для меня незабвенного.

Едва узнал Клодий, что я уже проснулся, как предстал ко мне и объявил, что Тереза с малюткой и спутниками в дороге. Я велел собрать в зале всех моих домашних от мала до велика, заложить дорожную коляску и оседлать две верховые лошади. Между тем как я переодевался, все было готово. Я вошел в залу и сказал слугам и служанкам:

«Друзья мои! По домашним обстоятельствам, я должен пробыть в моем замке Газар, может быть, немалое время.

Я сей час отправляюсь туда, а до прибытия в дом жены моей вверяю оный твоему управлению, старый, добродушный Мишель, равно как и всех, живущих в нем. В этой корзине уложены все мои серебряные вещи и тысяча ливров. То и другое разделите между собою, смотря по должностям, вами отправляемым, и по возрастам. Прощайте!»

Сопровождаемый Клодием и Бернардом, я сошел вниз и сел в коляску, а спутники мои, вскочив на лошадей, установились по правую и по левую сторону и поскакали в путь. Я забыл упомянуть, что на все догадливый Клодий, провожая уstraшенную Перрету в назначенный для нее приют, угрозами вечного заточения и обещанием скорой свободы вынудил ее сделать такое точное описание жилища камергерова, что оно весьма нетрудно отыскать можно было. И действительно мы пробыли в дороге не более часа, как увидели искомый нами храм Бахуса и Венеры. Я приказал остановиться и вышел из коляски, имея под левою мышкой две шпаги, а в правой руке пару заряженных пистолетов. Случись же так, что, пробираясь к красивому домику по краю перелеска, нашли на спящего Коллина, любимого слугу жены моей. Мы остановились с удивлением, и я сказал: «Вот счастливый случай без труда отыскать надобных нам людей! Клодий! разбуди его». Клодий пошевелил спящего уют-

ною дорожную палкою; Коллин проснулся, привстал, осмотрел нас и задрожал. «Бездельник! – вскричал я с крайним гневом, – так-то ты верно служишь своему господину? Если не хочешь, чтоб я сейчас размозжил тебе голову, то проводи нас к бесчестному Флизаку так, чтоб он ускользнуть не мог». – «Милостивый государь! – отвечал Коллин дрожащим голосом, требование ваше исполнить весьма нетрудно. Во всем доме одна старая стряпуха на кухне да мальчишка буфетчик, а я, два кучера, один г-жи маркизы, а другой г-на Флизака, и лакей последнего – Шарль были в городе за разными покупками. Как по милости госпожи мы не нуждаемся в деньгах, то и зашли в питейный дом. Пробыв там не более часа, я и Шарль догадались, что если еще пропируем хотя четверть часа, то уже нам не дойти домой до ночи, и потому отправились и легли в этом прекрасном месте, я здесь, а Шарль несколько поодаль. Что же касается до кучеров, то они остались в городе и, вероятно, там заспались. Г-н камергер и г-жа маркиза во все время своего здесь пребывания пьют шоколад, обедают и ужинают в саду, под четырьмя прекрасными кедрами, образующими беседку, внизу коих разбросаны кусты роз и жасминов. Извольте следовать за мною».

Мы достигли садовой ограды; Коллин отпер маленькую калитку, и мы вошли в эту приятную обитель.

«Вон, – сказал Коллин шепотом, – сказанные мною четыре кедровые деревья. Ступайте прямо, и вы найдете тех, кого ищите».

Я приказал своим спутникам соблюдать самую строгую осторожность, и мы начали подвигаться вперед, останавливаясь на каждом шагу, так что около получаса прошло, пока мы пробрались не более десяти сажень, и тут остановились, услыша громкий разговор, сопровождаемый смехом.

Я подвинулся еще шага на четыре и из-за стоящего передо мной каштанового кустарника увидел эту прекрасную чету. Они оба были в утреннем наряде. На камергере был штофной халат^{6} голубого цвета, а на маркизе розовое тафтяное дезабилье^{7}. Они оба сидели к нам лицами на дерновой скамье, за столиком с шоколадным прибором. Камергер, обняв маркизу с движеньями, взорами и улыбкой Сатира, сказал: «Согласись, Аделаида, что хотя ты всегда прелестна, но третьего дня приехала сюда совсем в другом, виде, нежели в каком теперь находишься. Пламень в глазах твоих потух, розы на щеках превратились в лилии; некоторая усталость, изнеможение разлились по всему лицу твоему.

Хотя муж твой в таких делах не что иное как драгунский рекрут, никогда не прикасавшийся к лошади, однако, думаю, и он заметит сию перемену. Бог зна-

ет, чего не пожелал бы я, чтоб только быть свидетелем, как он примет тебя по приезде домой, с какою глупою заботливостью станет расспрашивать о здоровья, с каким усилием будешь ты удерживаться от смеха и с какою величавою ужимкой потребуешь, чтобы он оставил тебя одну в покое по крайней мере недели на две, а между тем мы дремать не станем, и...»

Я кипел гневом и мщением. Руки и ноги дрожали, в глазах туманилось. Однако, скрепя сердце, я бодро выступил вперед, подошел к столу и положил на нем шпаги и пистолеты. Маркиза громко вскрикнула и упала в обморок. Камергер, помертвелый, трепещущий, уставя на меня неподвижные глаза, хранил молчание. «Бесчестный человек! – сказал я, наконец, – какой злой дух соблазнил тебя нанести мне такое оскорбление? Разве не довольно с тебя было, что ты обольстил эту несчастную, когда она не связана была никакими узами, кроме благоденствия? Ты продолжал, злодей, и тогда оскорблять законы божеские и человеческие, когда она сделалась уже моей женою. Умри, чудовище, или умертви меня и тем усугуби свое беззаконие и жди двойного наказания от людей и от неба».

Камергер несколько опомнился, привстал и сказал с надменностью: «Разве не знаете, г-н маркиз, что

нам, придворным людям, строго запрещено сражаться каким бы то ни было оружием? Нам представлено только ратовать языком.

Итак, если вы считаете себя несколько обиженным, то подавайте на меня просьбу вышнему начальству и будьте уверены, что без ответа не останетесь. Я в полной надежде, что один из дядей моих – лионский губернатор, а другой дворцовый маршал...»

«Подлец! – вскричал я, – если ты не согласишься разделаться со мною честным образом, то прикажу слугам моим забить тебя до смерти палками! Гей! Клодий! Бернард! Будьте готовы».

Верные исполнители воли моей величественно подняли увесистые жезлы свои и медленными шагами начали подходить к столу. «А! если ты таков, – вскричал камергер с разъяренным видом, – так ступай в ад, где давно тебе быть бы должно». – Тут схватил он пистолет и, отбежав в сторону, остановился. «Отсчитай, щекотливый муж, – кричал он, – двенадцать шагов и стреляй первый». – Медленными, мерными шагами отсчитал я указанное расстояние, оборотился к нему и начал прицеливаться. Хотя я дрожал всем телом от бешенства, однако, утвердись несколько, спустил курок. Раздался роковой выстрел, и противник стремглав полетел наземь; однако, лежа ли на земле или во время самого падения, я второпях того не за-

метил, и он сделал выстрел. Несколько минут я стоял неподвижно, не понимая и сам, чего ожидаю, как по левую руку раздался болезненный вопль и стон: я оглядываюсь и вижу, что жена моя силится подняться со скамьи, но не может. Я подхожу к ней и вижу – о небо! – кровь ручьем лилась на траву из левой ноги ее. Желая осмотреть рану, я нашел, что пуля ниже колена прошла насквозь и раздробленные кости высовывались из раны. Она продолжала произносить вопли. «Несчастливая! – сказал я, – видишь ли, как правосудное небо, рано или поздно, наказует беззакония! Бесчестный сообщник твоего преступления погибает от руки моей, а ты, может быть, погибнешь от руки его!»

На звук выстрелов прибежали Коллин и Шарль. «Отнесите этих несчастных, – сказал я, – на постели, и кто-нибудь скачи в город за доктором. Может быть, искусство в силах будет спасти их».

Проходя мимо камергера, я нашел, что он еще жив. Хрипение колебало грудь его, и судорожные движения потрясали руки и ноги. Достигнув коляски, я сел; спутники вскочили на коней, и все продолжали путь сколько можно поспешнее. К ночи мы проехали уже границу, и я велел остановиться в первой деревне, чтобы самим успокоиться и дать отдых лошадям, ибо, сверх того, во весь этот несчастный день ни люди ни

лошади не ели и не пили.

Мы остановились у бедной деревенской корчмы, которая по наружности ничего хорошего не обещала; но та ли пора, чтоб прихотничать? Когда наш кучер ввез коляску под навес и все лошади снабжены были кормом, тогда и меня с Клодием и Бернардом ввели в комнату, которая была довольно просторна, порядочно освещена и столь опрятна, что на скамьях не было комьев грязи, а на стенах охапок паутины; а я начался и наслышался, что в испанских, даже городских гостиницах такие прикрасы за ничто считаются.

Я сел за стол, покрытый чистою скатертью, и спросил у стоящего передо мной пожилого испанца с важным видом: «Я голоден и хочу быть сыт; скажи хозяину, чтобы приготовил самый лучший ужин для меня и для трех моих оруженосцев». — «Ваша светлость, — отвечал предстоявший, — вы изволите делать приказания самому хозяину Маттиасу де Фернандесу; хотя отсюда до Байоны и не близко но вы не сыщете трактира столь запасного, как мой, и смело скажу что если бы сам его католическое величество благоволил у меня откушать, то я нашел бы, чем употчевать его со всею свитой. Сегодня обедал у меня маленький французский маркиз с многочисленными спутниками, и все довольны были моим угощением. Для маленького превосходительного приготовлено было...»

– «Постой, дон Маттиас де Фернандес, – вскричал я, скажи, сколько было сопутников у молодого маркиза и кто такие?» – «С ним вместе в карете – отвечал он, – сидели две донны, одна средних лет а другая гораздо моложе. По обе стороны кареты бы по по одному кавалеру, а на козлах сидел кучер в великолепной одежде». – «Итак, ступай же, дон Маттиас де Фернандес и приготовь ужин, сколько можно лучший и изобильнейший». – «Все будет в одну минуту представлено вашей светлости, ибо я живу не без запаса», – сказал хозяин поклонился и вышел мерными шагами.

«Кажется здесь обедали наши путешественники», – сказал я и Клодий отвечал: «Нет сомнения! Мы завтра же их догоним» Тут завелся было разговор об ужасных происшествиях сего утра, как вдруг хозяин явился с бутылкой вина и двумя хлебами, а за ним следовала служанка с большим блюдом. Когда сей припас уставлен был передо мною то выпив рюмку вина, принялся я за баранину с подливкою вскипяченною в воде с коровьим маслом. Хотя такое блюдо во Франции и последнему из моих слугителей показалось бы не по вкусу, но теперь я насыщался им с особенною приятностью. Вскоре поставлены были пара жареных цыплят и такой же заяц, там рыбное блюдо, а ужин оканчивался яишницею. Дон Маттиас де Фернандес стоя поодаль, беспрестанно упрашивал есть и пить

побольше ибо де не во всяком трактире в королевстве удастся найти такой ужин. И действительно, не мог я надивиться запасливости хозяина и укорял в клевете тех писателей и путешественников, кон поносят испанские гостиницы как со стороны опрятности, так и угощения.

Как скоро я насытился, то встал и начал расхаживать по комнате! а на моем месте сели кавалеры Клодий, Бернард и вновь призванный кавалер Марсель, мой кучер. Хотя наставленного для меня кушанья осталось более двух третей однако вновь принесенного было блюдо оллы потриды¹, три большие куса сыру, три хлеба и три бутылки вина.

«Кушайте, господа кавалеры, кушайте на здоровье и не говорите, что в трактире дона Маттиаса де Фернандеса можно так же хорошо поститься, как в Кармелитском монастыре». – Мои кавалеры и без потчиванья хозяйского не дали бы маху; они убирали все, как проголодавшиеся волки, и когда на столе ничего не осталось, то все расположились к покою, я в коляске, а прочие где кто хотел. Перед выходом из корчмы я приказал Клодию честно рассчитаться с хозяином, ни мало не торгуясь, и как скоро рассветет, то, не дожидаясь моего пробуждения, ехать далее.

¹ Любимое блюдо у испанских простолюдинов: оно сеть похлебка, составленная из разных мяс. (Примеч. Нарезного.)

Утро было прелестное. По обе стороны дороги зеленели виноградные сады и оливковые деревья. Клодий и Бернард, кинув затейливую наружность, ехали позади коляски рядом и курныкали какую-то песню. Я предался размышлению и задумчивости, не могу сказать приятной, ибо воспоминание бедствия, так недавно случившегося, все еще стесняло мое сердце, все еще колебало мои мысли, но и не томительной, ибо я достойно отмстил вероломной женщине и гнусному ее обольстителю.

Около полудня Клодий вскричал: «Я вижу невдалеке деревню и пробирающуюся в нее карету». – «Так! – сказал Бернард, – я примечаю позади кареты двух вершников; это наши!» – Услыша эти слова, я с радостным биением сердца поднялся, взглянул вдаль в зрительную трубку и вскричал радостно: «Так, друзья мои, это моя карета: вот, по правую руку Петр, по левую Никар. Марсель! поспешай, сколько будет в лошадях силы». – Кучер присвиснул, взмахнул бичом, и коляска помчалась.

Через полчаса и мы въехали в деревню и спешили достичь кареты, стоявшей не очень далеко у корчмы. Клодий и Бернард, как из лука стрела, пустились вперед, и когда моя коляска была от кареты саженьях в десяти, то я увидел Терезу, спешащую ко мне с Леонардом на руках. Рядом с нею шла Маша, а за ними

следовали все мои служители.

Стремительно принял я с рук няньки сына, поднял его вверх и возгласил: «Отец щедрот и милосердия! призи бедного сироту сего! у пего нет матери, а отец – изгнанник!» – Яне мог сказать более; слезы полились градом по щекам; в глазах потемнело; я пошатнулся; уstraшенная Тереза выхватила дитя из рук моих, а Клодий и Бернард, поддерживая под руки, подвели меня к близ стоявшей скамье и усадили. Тут вся прошедшая жизнь представилась мне по порядку происшествий. «Правосудный и милосердный боже! – говорил я сам в себе, – если бы отец мой не был столь сурового нрава, то я имел бы обожаемую Юлию мою супругой, жил бы в кругу счастливого семейства, не был бы мужем развратной женщины и не пролил бы крови моего ближнего. Но таковы судьбы твои! я ничего не понимаю и безмолвно следую за рукою, меня ведущую».

Успокоясь несколько, я поднялся со скамьи и сказал:

«Тереза, Маша и ты, Клодий, пройдемся немного по деревне; а ты, Бернард, закажи хозяину изготовить для всех нас хороший обед. Судя по наружности, эта корчма лучше Фернандесовой, так надобно ожидать и угощения лучшего».

После этого началась паша прогулка. Ничего нет

глупее и несноснее испанской спеси. Всякий бродяга носит предлинную шпагу, и владелец ветхой хижины и малого участка земли считает себя не менее града первой степени. Прошло около часа прогулки, как Бернард настиг нас и с превеликою важностью сказал: «Ваше превосходительство!»

Дон Гусман де ла Кодонос, желая вам здравия и долгоденствия, покорно просит в содержимую в замке его гостиницу пожаловать откушать». – После сего он, отворотясь, захохотал во все горло и бросился назад скорыми шагами.

«Что бы эго значило?» – спросил я у Клодия. «Не знаю, – отвечал сей, а думаю, что недаровое. Пойдем и узнаем». – Когда вошли мы в столовую, то я увидел, что все мои служители имели красные глаза и платками вытирали щеки.

После обеда, думал я, узнаю причину непомерной радости, и сел за стол, велев Терезе и Маше поместиться со мною.

Я выпил рюмку вина и сказал Клодию: «Ты, друг мой, все хорошо обдумал насчет нашего путешествия, но забыл, что французскому дворянину испанские вина...» – Дверь отворилась, и степенный старик, похожий на иссохшую ель, вошел в сопровождении служанки, несшей огромную глиняную миску. Когда она поставлена была на стол, то дон Гусман де

Кодонос, подошед с улыбкою, сказал: «Уверяю кавалерскою честью, что это истинно княжеское блюдо! извольте откусать, ваша светлость, этих бобов, вареных с оливковым маслом». – Я взглянул на него с удивлением и сказал: «Может быть, это княжеское блюдо и полюбится моим кавалерам, а мне, дон Гусман де Кодонос, прикажи подать что-нибудь другое». – Хозяин наморщился, отступил шага на два и сказал служанке: «Возьми, Марцеллина, и отнеси; а на место этого подай вторую перемену». – Марцеллина исполнила повелемное, и предо мной поставлено было сарачинское пшено, разваренное в воде и посыпанное изюмом. «Вот кардинальское кушанье», – сказал хозяин.

«Это кутья, – сказал я, – которую едят, поминая мертвых. Марцеллина! подавай-ка третью перемену, а это прелатское блюдо предложи моим кавалерам. Неужели я попал в монастырь кармелитов босоногих?» «Никак, – отвечал хозяин, – у меня гащивали высочайшие чиновники королевства и были весьма довольны; не понимаю, как ваша светлость...» Третья перемена состояла в жареных каштанах.

Я ахнул: «Что такое, дон Гусман де ла Кодонос, вы вознамерились меня и всех нас уморить с голоду?» – «Ах, господи! – сказал, вздохнувши, Гусман, – сколько испанские гранды снисходительны, столько француз-

ские взыскательны». – «Тут нет никакой взыскательности, дон Кодонос, – отвечал я снисходительно, – а простое требование, которое, конечно, может остаться и неисполненным. Как, например, не благодарить дона Маттиаса де Фернандеса за вчерашний ужин!» – «Маттиаса Фернандеса? – вскричал с крайним удивлением дон Гусман, – я бедняка этого довольно знаю и удивляюсь, что его ужин...» – «Да, – сказал я полусердито, – на столе у бедняка сего были баранина, цыплята, заяц, яшница, а не...» – «Праведное небо! – воскликнул дон Гусман со вздохом, – видно, вы околдованы были». – «Я разрешу эту загадку, – сказала Тереза с улыбкою. – Вчера, в обеденную пору, мы нашли у Маттиаса обед гораздо скуднее, чем здесь. Нам подано было дурное вино, черствый хлеб и кусок заплесневшего сыру, а вместо десерта несколько головок луку. Я также удивлялась, как вы, г-п маркиз, удивляетесь теперь; а более всего меня тревожила мысль, чем накормить малютку. Недоумение свое сообщила я хозяину, сказав, что на руках моих маленький французский маркиз, который луку есть не станет». – «А, а! – вскричал радостно Маттиас, – если так, то все к вашим услугам: дайте мне реалов с двадцать или тридцать да в помощь двух ваших кавалеров, то увидите, что дон Маттиас де Фернандес наделает чудес». – «Браво, – вскричал Петр, схватя его за руку, –

пойдем же поскорее; у меня на руках все расхожие деньги. Никар, пойдем вместе».

Около часа не было об них слуху. Бедного малютку я потчевал хлебом, намоченным в вине. Наконец, мы увидели их, идущих по улице. Предводитель каравана сего Маттиас, неся на плечах крошню с курами и цыплятами, волок за рога большого барана, которого упорство было причиною к замедлению. У Петра за плечами был кузов с сыром и хлебом, а в руках лукошко с яйцами. Никар вез на тележке бочонок с вином, на верху коего прикреплена была корзина со всякими овощами и зеленью. Еще часа через два обед был готов, и мы были им весьма довольны. При выезде из той деревни Петр, давая Маттиасу целый червонец, сказал: «Смотри, хозяин, не прозевай. Сегодня к ужину или завтра к обеду будет к тебе знатный французский господин. На эти деньги приготовь для него стол, сколько можно лучший. Что ты скажешь?» – «Если бы ваш знатный господин был сам дофин, – отвечал он с восторгом, – то на эти деньги употчую его не хуже, чем в Версали или Фонтенбло!» – С этими словами мы отправились вперед.

«Так вот! – вскричал дон Кодонос с восторгом, – вот и отгадка, отчего ваша светлость не пошли в спальню, покушав хлеба с луком. Если благоугодно вам, чтоб и в моем трактире вы угощены были не хуже...» – «Кло-

дий!» вскричал я с нетерпением, – и этот верный слуга, схватя за руку донна Гусмана, потащил из комнаты, а за ним и все мои служители последовали. Около трех часов мы никого не видали, и я начал выходить из терпения, как вдруг явился дон Кодонос с торжествующим видом. Шедшая за ним служанка была одета гораздо чище, чем прежде. Начался обед и я должен признаться, что он был и изобильнее, и вкуснее, и даже затейливее, чем вчера у Маттиаса. Обе сидевшие со мною донны очень довольны были и изъявляли благодарность хозяину; а он, ходя по комнате задравши голову, улыбался и закручивал усы.

Надобно было приготовляться в дальнейший путь. Дон Гусман, коему за труды и хлопоты щедро заплачено было, сказал: «Ваша светлость! до Байоны доедете вы не прежде как около полуночи и не найдете даже и того, что первоначально нашли у Маттиаса, то есть: ни хлеба, ни луку! Чтоб избавиться этого несчастья, осмеливаюсь представить вашей светлости, не благоугодно ли будет повелеть, чтоб двое из ваших кавалеров, отправясь теперь же в Байону, приискали хороший трактир, в котором можно б было хорошо поужинать и было б на чем отдохнуть?» – «Благодарю за совет, сказал я с признательностью. – Петр, Никар! поезжайте с богом, и когда в городе все устроите, то один из вас пусть ожидает у городских ворот нашего

прибытия».

Все устроено было по сему распоряжению, и в Байоне, во время двухсуточного нашего пребывания, мы находили в нашем пристанище все удобства жизни. До самого Мадрида не встречали никаких неприятностей, кроме небольших, сопряженных со всякою дальнею поездкою. Прибыв в эту столицу набожного и вместе спесивого народа, я остановился в доме, довольно удобном вместить меня со всем людством, ибо за два дня до моего приезда в город хлопотали о том Бернард и Клодий с утра до ночи. Целая неделя прошла сколько в отдохновении, столько и в расчетах. Надо было приискать несколько новых слуг, ибо Клод и я нарек я управителем всего дома, а остальными тремя обойтись никак нельзя было. К Терезе приставил я также служанку, ибо Марья, при первой удобности, должна была возвратиться к мужу. Как бы то ни было, только в продолжении недели мы совершенно отдохнули и устроились так, как будто в Мадриде несколько лет постоянно проживали.

Первый мой выезд был к французскому посланнику при Мадридском Дворе. Этот достойный муж принял меня очень ласково и весьма терпеливо выслушал повесть о моих приключениях, заставивших бежать из отечества. Подумав несколько времени, он сказал: «По моим мыслям, самое затруднительное в

вашем положении обстоятельство есть то, что вы без ведома начальства оставили полк свой, а что всего хуже, оставили полк, расположенный на границе. Тестя вашего я весьма хорошо знаю. Он самолюбив, дерзок, но вместе с тем честен и неизменен в своих правилах. Совет мой будет состоять в том, чтоб вы уведомили его подробно о всем, с вами случившемся, и предоставили его справедливости исходатайствование всемилостивейшего прощения и дозволения возвратиться в отечество. Как скоро вы оное получите, то я обязанностью поставлю представить вас Двору Испанскому и уверен, что вы найдете при нем много таких особ, кон достойны всякого почтения; между тем дом мой прошу почитать своим».

Мы расстались с ним весьма приятельски.

Я думал и передумывал, каким образом писать к маршалу: употребить ли слог нежный, томный, умоляющий, какой приличен несчастному самоизгнаннику; или пламенный, резкий, непреклонный, изображающий человека твердого, оскорбленного, мало отместившего за обиду, ему сделанную.

По довольном обдумывании я избрал середину, изготовил послание, приложил к нему письмо камергера к Аделаиде и отправил на почту. Чтобы не быть в совершенной бездейственности, я начал ежедневно осматривать все достопамятности Мадрида и окрест-

ности его. Каждую пятницу проводил я в посла, от обеда до глубокой ночи. Но как он, сообразуясь с испанскими обычаями, принимал одних мужчин, ибо все приезжающие дамы и девицы сейчас провожаемы были на половину его супруги, то сходбища наши скоро сделались для меня скучны. Ни о чем более творено не было, как о политике и о торговле. Французы болтали безумолчно, а испанцы весьма мало. Однако ж из числа последних мне понравился один пожилой мужчина, по имени дон Альфонс де Квиринал. Он имел кроткий взгляд, тихий голос, степенную, по не гордую поступь и единственно из угождения надменному своему родственнику изредка упоминал о каком-то испанском князе, своем родоначальнике, за которого Сципион Африканский выдал свою племянницу и был посаженным отцом. Дон Альфонс также отличил меня от прочих французов и нередко, отозвав к стороне, по несколько минут сряду со мною разговаривал. Это не шутка!

Скоро открыл я в нем основательный ум, дар красноречия, довольные познания, и – вместе с томпы! где найдем совершенного человека? некоторые немаловажные недостатки. Он поступал во всем так, что если бы жил хотя за сто лет прежде, то такие подвиги его были бы препрославлены. А теперь над ним бы смеялись, если б испанцы не считали реликою

непристойностью смеяться над кем-либо, а особливо над земляком. Но не столь разборчиво думали французы, и некоторые из них, бывшие помоложе, позволяли себе всякого рода эпиграммы на счет вдохновенности этого полуправедного. Он принимал на одну минуту надменный вид испанца, обозревал насмешников с приметным негодованием и даже унижительным сожалением о их невежестве и, таким образом отмстивши, отходил обыкновенно в другую сторону и погружался в задумчивость.

Однажды, когда он более обыкновенного огорчен казался насмешками молодежи и сидел в углу крепко нахмурясь, я подошел к нему с истинным соучастием и сказал: «Что такое, почтенный дон Альфонс, заставило вас представлять здесь лицо древнего Гераклита^{8} и плакать о людских глупостях? Я думаю, что гораздо сходнее подражать Демокриту^{9}; а если это не правится, то совсем их оставить и не казаться им на глаза». — «Господин маркиз! отвечал дон Альфонс, улыбнувшись, — вы много ошибаетесь в моем нраве и образе мыслей, если сочтете меня способным оплакивать глупости человеческие или их осмеивать. Во мне нет ни того, ни другого. Я охотно подвергаю себя нападкам глупцов, чтобы тем испытать силу моего терпения, столь необходимого в том звании, в которое вступить надеюсь. Пойдем в сад, там скажу вам

гораздо более, нежели сколько здесь сказать можно».

Когда уселись мы в дальней беседке, то дон Альфонс продолжал: «Я буду теперь откровенен, ибо считаю вас рассудительнее всех молодых кавалеров, при вашем посольстве здесь находящихся. По смерти отца я остался владельцем значительного имения. Все родственники и знакомые считали, что двадцатипятилетний Альфонс де Квиринал, пользуясь свободой, богатством и здоровьем, следуя примеру большей части себе подобных, со всего размаху бросится в омут и пустится обеими руками сгребать с себя излишества сих даров божиих, и увещевали меня быть осторожнее, но они ошибались. Я ни к чему не имел привязанности, хотя мне все хорошее правилось. Таким образом я приобретал друзей без малейшего искательства и лишался их без соболезнования. Вскоре я женился, не чувствуя к жене и тени той любви, какую начитывал в наших романах и сам воспевал в балладах и романсах по требованиям старых красавиц и их дочек. Вся жизнь моя была подобно пруду, осененному высоким;! деревьями, которые хотя и защищали поверхность его от напора ветров, но зато не допускали и солнце освещать пасмурные берега его. Я жил, чтобы есть и пить. Наконец мне все надоело.

По совету моего духовного отца пустился я путешествовать по Испании, посетил все святые места и умо-

лял небо даровать мне склонность к чему-нибудь, только бы избавиться мне несносной бесчувственности. Небо услышало мои молитвы и сжалилось надо мною. Однажды, размышляя о сей жизни и будущей, я почувствовал внезапно кроткий пламень, разлившийся в груди моей; мысли мои воспарили в высоту, и я ощутил непреодолимую склонность посвятить всего себя небу и остальные дни жизни провести где-нибудь во святой обители. Но как достигнуть сей прекрасной цели? Я супруг молодой еще женщины и отец пятнадцатилетней дочери, Дианы. Хотя последнюю воспитал я с возможным рачением, внушая ей от самой колыбели все возможные добродетели, приличные полу ее, однако же нимало не помышлял сделать ее в цветущих летах отшельницей и тем добровольно лишнюю кучу грехов принять на свою ответственность. Я решился молчать о страстном своем предприятии и терпеть по-прежнему, хотя на душе моей было уже и легче, как скоро узнал предмет моей сердечной склонности.

Спустя два года после сего перелома в моих чувствованиях жена моя умерла. Я оплакал потерю эту непритворно, не потому, чтобы страстно любил донну Сильвию, но потому, что нимало не любил ни одной посторонней женщины. По прошествии времени, установленного для наружного сетования, я с доче-

рью явился в свет, нетерпеливо желая, чтобы кто-нибудь из молодых кавалеров пленил невинное сердце ее. Вскоре заметил я с ужасом, что Диана смотрела на всех, как смотрит прекрасная статуя.

Чтобы сколько-нибудь исподволь приучить к нежности это каменное сердце, я вызвал из Барселонны родственницу мою, Калисту, нежную, чувствительную, страстную ко всему хорошему. Диана полюбила ее как родную сестру и, казалось, для нее одной имела сердце. Калиста, следуя моему предписанию, читала ей самые нежные описания блаженства, во взаимной любви находимого, указывала на приманки любви сей во всей природе, на земле, в воде и в воздухе, и в жару восторга, коим пылала грудь ее, она не примечала, как Диана засыпала на ее коленах. Такая бесчувственность в молодой девице приводила Калисту в трепет, и она, рассказывая мне о том, проливала слезы чувствительности и досады. Так прошли еще два года, и я, к несчастью, не замечаю в бесчувственной никакой перемены: она и теперь столь же опытна в любви, как двухлетний младенец. Ах, маркиз! вот истинная причина моей горести и того равнодушия, которое столь смешным кажется землякам вашим!»

«Это весьма походит на роман, — сказал я, подумав, — и можно ли только было ожидать такого чуда под прекрасным небом Испании? Желал бы я хоть

один раз взглянуть на донну Диану, чтобы, возвратясь в отечество, иметь право сказать: я видел в Испании такую редкость, какой никто, нигде, никогда не видел!» – «Любопытству вашему удовлетворить нетрудно, отвечал дон Альфонс. – Через три дня исполнится Диане двадцать лет; я сделаю небольшой пир, призову ближних родных и друзей и прошу вас также к обеду пожаловать. Вы увидите бесчувственную и – отдадите справедливость моему терпению».

Какая задача для молодого французского маркиза? Не славнее ли было бы для всякого рыцаря века Карлова ^{10} одушевить мрамор, чем очарованным мечом разрушить такой же замок? С нетерпением ожидал я рокового дня, и – наконец он настал. Имея довольно времени обдумать план нападения, я утвердился на том, чтобы равнодушную, бесчувственную донну Диану растрогать с такой стороны, откуда она менее всего ожидала приступа. На сем основании поступил я таким образом.

В надлежащий час я оделся в богатое, великолепное платье испанское. На шею повесил золотую цепь с таким же изображением Лудовика Святого, которое этот монарх подарил некогда дому Газаров за их услуги. Дорогие каменья блистали на кольцах и пряжках. В сем убранстве сел я на андалузского коня и в предшестве испанского скорохода и в сопутствии Клодия

и Бернарда, также богато одетых в ливреи по цветам гербов моих, отправился к дому дона Альфонса де Квирпнала. Проезжая мимо его окон со всею важно-стью гранда первой степени, я не мог не заметить, что все окна были наполнены людьми обоего пола. Верно, в числе этих любопытных была и Диана, думал я, слезая с коня: это не худо! Если хочешь тронуть сердце или по крайней мере занять воображение женщины, то прежде всего надо возбудить ее любопытство. Хозяин с распростертыми объятиями встретил меня на крыльце, обнял дружески и введши в гостиную – наилучшим образом представил многочисленному собранию. Дон Альфонс скромничал, сказывая мне за три дня, что на этот праздник пригласил только нескольких друзей и сродников. Напротив, тут были собраны почти все лучшие люди из придворного сонма, из войска, из духовенства и гражданского сословия.

Когда я самым вежливым образом раскланялся с присутствующими, то дон Альфонс ввел меня в другой покой, где находились женщины. Подведя к одной, которой великолепный наряд прежде всего обратил мое внимание, он сказал: «Г-н Маркиз! это дочь моя, Диана; прошу быть к ней благосклонным». Следуя обычаю страны, в которой тогда находился, я почтительно стал на одно колено и поцеловал край блиста-

тельной ее одежды. Вставши, я начал говорить ей самое лестное приветствие, какое только щеголеватый маркиз в течение целых грех дней мог придумать, а между тем старался одним взглядом обозреть все совершенства или недостатки занимавшего меня предмета.

Я поражен был удивлением; какой-то невольный трепет разлился в груди моей, и если я не спутался, не представил из себя смешного ротозея, то единственно обязан этим французскому воспитанию. Окончив приветствие мое донне Диане, я с величайшим почтением раскланялся с прочими доннами и с примерною важностью вышел из комнаты.

Следуя обдуманному предложению, я поступал так осторожно, что в течение обеда, прогулки, вечернего стола донне Диане не случилось слышать от меня ни одного ласкательного слова, не удалось поймать ни одного страстного взгляда; ибо, откровенно сказать, это первое свидание с нею решило участь моего сердца, и я без всякого упорства дозволил возложить на него прелестные оковы.

Так-то иногда бывает, что маловажное начало ведет за собою весьма важный конец. Надо отдать справедливость, что до тех пор я не видывал особы столь совершенной, как Диана. Ее возвышенный рост, ее гибкий лилейный стан, ее томный взор, большею ча-

стию устремленный к небу или в землю, делали ее образцом красоты, скромности, невинности. Хотя первые чувствования мои к Юлии не совсем еще охладели, но как после разлуки с нею протекло уже более трех лет и я начинал терять надежду о возможности когда-нибудь возвратиться в землю отечественную, то что могло удержать стремление мое к Диане; к тому ж какой молодой человек, а особливо француз, легко откажется от чести победить непобедимую красавицу? При расставании с доном Альфонсом я благодарил за величайшее удовольствие, доставленное мне в его доме. «Если у меня вам, г-н маркиз, не совсем было скучно, – отвечал хозяин, обнимая меня, – то от вас зависит сколько можно чаще посещать дом мой. Я буду очень доволен, доставляя некоторое удовольствие столь совершенному кавалеру». – Я благодарил за это ласковое приглашение, дал слово пользоваться оным и ушел, простясь с Дианою со всевозможною вежливостью, то есть с такою непринужденною холодностью, с такою топкою надменностью, что хозяин и дочь его (как я узнал после) немало тому удивились, и последняя не без досады спросила у первого: «Не в таких ли поступках заключается столь прославленная у нас французская вежливость?»

Настала осень, почти неприметная в Испании, и мои посещения в доме дона Альфонса сделались ча-

ше и продолжительнее. Любовь моя к Диане началась почти шуточно, как я и выше заметил, а впоследствии, становясь день ото дня сильнее, превратилась наконец в страсть необузданную. Я старался всеми возможными в Испании средствами объяснить ей мои чувства: почти каждый день провожал ее в церковь и из церкви, давал под окнами серенады, старался предупреждать малейшие желания. Но тщетно! Я не видел в ней ни малейшей перемены. Она прогуливалась, читала молитвы, пела духовные песни, играла на лютне, как бы при ней никого не было, хотя я и Калиста всюду следовали за нею, как тень ее. Я начал приходить в отчаяние. Подруга ее давно действовала в мою пользу, за что постепенно руки ее, уши, грудь и голова начали сиять в перлах и драгоценных камнях. Но успеха не было. На каждую записку мою к Калисте (нам редко удавалось лично быть наедине, и то разве на самое короткое время) она отвечала готовностью удовлетворять моим страстным желаниям, но что надо подождать, пока откроется удобный случай.

Так прошла зима, и настала весна великолепная. Лимонные, апельсиновые и множество других деревьев усыпались цветами душистыми. Вся природа возбудилась к новой жизни, любовь разлилась между небом и землею. Можег ли один человек быть нечувствителен? Мне казалось, что я не переживу этой пре-

лестной весны, если не получу от Дианы соответствия на пламенную любовь мою. Итак, я решился, при первом свидании с этою нечувствительною красавицею, открыть ей все изгибы сердечные, все ощущения душевные. Присутствие безотвязной Калисты не должно меня удерживать, говорил я сам себе, идучи в сад дона Альфонса, когда в доме его объявили, что Диана с своею подругой там находится. Я нашел их в беседке, окруженной кустами цветущих жасминов и розмаринов.

Калиста играла на лютне, а Диана пела новый романс.

Никогда я не слышал от нее другого пения, кроме псалмов и тому подобных стихотворений; итак, посудите, сколько удивлен, сколько поражен был я, когда услышал, как эта строгая, нечувствительная, или, лучше сказать, бесчувственная красавица нежным, томным, сладостным голосом изображала сладости и томления любви. Она продолжала петь:

Ах! если бы и он терзался,
Подобно мне, сей страстью злой,
Давно б уже мне в том признался
И с пламенной сказал слезой:
«Диана! кинем все сомненья!
Зачем нам бегать наслажденья?»

Кровь во мне закипела. Стремительно бросаюсь в беседку, падаю пред изумленной красавицей, обнимаю ее колена и – голосом, исполненным огня и восторга, взываю:

«Диана! милая, бесценная Диана! бросим все сомнения!» – Быстро вскочила она, отступила на несколько шагов и приняла такой вид и положение, какое, вероятно, имела оскорбленная тень Юноны^{11}, вырвавшейся из насильственных объятий дерзкого Иксиона^{12}. Она скорыми шагами вышла из беседки, – Калиста, так же встревоженная, за нею последовала.

Кто опишет состояние моего сердца! Я так пристыжен, поруган! О женщины! Кто бы на моем месте не подвергся подобному ослеплению. Нет, ни сам Пигмалион не мог бы одушевить Дианы!^{13}

С мрачными мыслями оставил я жилище дона Альфонса, принеся клятву забыть Диану и всеми мерами стараться искоренить из сердца образ, недостойный моего обожания. Разумеется, что весь день провел я в тоске, а ночь в бессоннице. Чем более старался рассеяться, тем менее успевал в том, и началом и концом каждой мысли была Диана. Тогда только испытал я, что любить непреклонную гораздо мучительнее, чем быть женату на ненавистной.

Однако ж как дворянину не устоять в своем слове? Целые три дня бродил я по полям и рощам в окрестностях Мадрида и если принимал несколько пищи и питья, то единственно по неотступным просьбам всегда сопровождавших меня Клодия и Бернарда.

Так прошла целая неделя после глупого приключения в беседке; но у меня на сердце не сделалось легче, и я невольно вздрагивал при каждом о том воспоминании.

В одно прекрасное утро, когда я, погруженный в мрачную задумчивость, бродил по саду моего дома, вдруг увидел бегущего ко мне изо всех сил Клодия с большим свертком бумаги в руке. «Добрые вести, г-н маркиз, кричал он издали, – вот вам письмо от его светлости, вашего тестя, что узнаю я по гербам печати». – Я задрожал и чувствовал, что сердце мое забилося сильнее прежнего. Взяв бумагу в руки, я сел на скамье и несколько времени пробыл в молчании; наконец разломал печать и прочел следующее:

«Господин маркиз!

Обстоятельства требовали, что я до сих пор не отвечал вам на письмо, писанное ко мне назад тому около года. Хотя вы знаете меня не много, однако надеюсь, знаете столько, что считаете человеком, любящим честь более всего на свете. Свидетельствуюсь моею совестью – это много сказано для маршала Франции, – что ничего не

знал о бесчестных поступках моей дочери до тех пор, пока она за оные не наказана. Я послал в проклятый дом искуснейших врачей, чтобы приложили все меры к излечению преступников.

Хотя одна пуля прошла сквозь бок гнусного камергера, а другая раздробила ногу вероломной женщины, но от таких ран не всегда умирают. Выздоровление извергов было весьма медлительно, однако ж они выздоровели. Камергер отделался тем, что на груди и на спине его выросли большие горбы, а дочь моя стала ходить с помощью костыля, на деревяшке. Этого только и ожидал я. Отправясь во дворец, я просил аудиенции, и тотчас допущен был к Королю. Я рассказал его величеству все случившееся в моем семействе и просил о правосудии. Он принял от меня просительную бумагу и обещал сделать все, чего потребует его обязанность. Спустя три дня я получил, чрез королевского адъютанта, милостивейший рескрипт, при коем приложены были следующие бумаги: 1) пожалование маркиза де Газара генералом французской армии; 2) дозволение пробыть ему в чужестранных владениях, доколе пожелает; 3) брак его, по желанию отца маркизы Аделаиды, расторгнуть навсегда, и она обязывается остальную жизнь провести в монастыре безвыходно; 4) камергер де Флизак изгоняется от двора навсегда с воспрещением

также проживать в столице или в окрестностях ее.

Вы можете заключить, господин маркиз, что я очень был доволен столь правосудным решением потомка Генриха Четвертого. Все в несколько дней приведено было в действие. Виновная дочь моя заключена в монастырь, а ненавистный оболъститель оставил столицу. Кажется, вы должны быть спокойны и довольны. Маршал Франции иначе поступить не может и — не должен. Несчастных детей моей презренной дочери, Эмиля и Адель, я взял в Париж и буду воспитывать их сколь можно лучше. Они не должны страдать за беззаконие своих родителей, и хотя я из числа первых перов государства, но готов снизойти иногда и к низкому сословию людей. Господин маркиз! Все бумаги, какие вам могут со временем и по обстоятельствам понадобится, посылаю к вам. По возвращении во Францию вы найдете во мне лучшего своего друга.

Маршал Д.»

Прочитав все бумаги, я ожил. Свобода представилась мне в виде прелестного божества, кроткого, улыбающегося.

Бунтующая страсть к Диане, казалось, перешла в чувство простой склонности; образ юной, нежной, невинной Юлии носился перед глазами моего воображения, и я решился воспользоваться дарованным

мне от неба правом на счастье. «Клодий! – вскричал я, – хочу и велю, чтоб через два дня все было готово к дороге. Мы опять увидим Францию, увидим Юлию и – будем счастливы». – «Господин Маркиз! – сказал с необыкновенною важностью Клодий, – я смотрю без очков, а потому думаю, что лучше вас вижу предметы как близкие, так и дальние. У меня в два часа все готово будет к отъезду; но справедливость требует, чтоб вы распростились со здешними друзьями, и в особенности с доном Альфонсом». – «Ты говоришь правду», – сказал я, уложил полученные бумаги в карман и в сопровождении одного Бернарда полетел к дому Альфонсову.

Старик только что кончил свои молитвы и готовился завтракать вместе с дочерью и Калистою. Меня сейчас к нему допустили. Окинув всех одним взглядом, я заметил, что веселый дон Альфонс на сей раз был пасмурен, как западный ветер; дочь его подобила увядающей лилии; на глазах Калисты блистали слезы. Я смешался и, не помня сам себя, бросился в объятия доброго Альфонса. «Что за новости? – вскричал старик, – с некоторого времени я завален загадками. Маркиз не кажет глаз более недели; дочь бежит меня, как алжирского дея^{14}; Калиста тоскует и плачет. Что все это значит?» – «Любезный друг! – отвечал я, – ничего не могу сказать насчет твоего семейства; но

что касается до меня, то, надеюсь, ты примешь участие в перемене судьбы моей. Прочти эти бумаги. Ты увидишь, как решение неба правосудно. Через два дня лечу во Францию. Этот день я посвящаю дружбе и пробуду здесь до самого вечера». – «Ах, господи!» раздался болезненный голос Калисты, я и дон Альфонс быстро оглянулись и оторопели, увидя, что бедная, бездыханная Диана лежала на коленях сестры своей. «Опять новости! – вскричал огорченный отец, – праведное небо! что из всего этого будет?»

После употребленных стараний Диана открыла глаза, и ручьи слез заструились по лилейным щекам ее. Она взглянула на небо, на меня, в землю, вздохнула – и опустила на лицо покрывало. Я не мог более удержаться. Какое-то неясное, но сильное чувство говорило мне: «Ободришь! ты любим!» Я бросился на колена, взял руку Дианы, поднял ее, осыпал поцелуями и вскричал к изумленному отцу: «Во имя вечной любви – благослови нас». Диана откинула покрывало, встала, прижала руку мою к своему сердцу и, зарыдав снова, поверглась в мои объятия.

Дон Альфонс протирал глаза, восклицал ко всем святым и, наконец, со слезами родительской любви обнял нас обоих.

Коротко сказать, объяснения следовали за объяснениями; все недоразумения исчезли, и я – к неопи-

санному блаженству – узнал, что единственно мне принадлежит сердце нежной, страстной девицы, хотя иногда легковерной, мечтательной. Предупреждая все поводы, могущие тронуть безмерную чувствительность моей Дианы, я отправил своего Леонарда с Терезою в Рим, где предположено дать ему начальное воспитание. Свадьба совершена торжественно.

Я утопал в блаженстве. Но есть ли что прочное под луною?

По прошествии полугода после счастливой моей женитьбы я узнал, что Диана будет матерью. Я не в состоянии изобразить нрав этой несравненной женщины. Если бы живописцу надобно было списать изображение нежности, то ему необходимо должно бы посмотреть на Диану, проникнуть в изгибы сердца ее, остановить на себе взор ее, взор ангела небесного. Милосердный боже! Для чего излишество, даже в добродетели, всегда для нас пагубно?

В определенное время Диана подарила меня сыном, которого, в честь его деда, назвал я Альфонсом. Мать и дитя были здоровы; дни мои текли по-прежнему: в мире, любви и довольстве. «Как справедливо утверждают, говорил я нередко, – что благое провидение все устрояет к наилучшему концу. Что была бы вся жизнь моя, если бы Аделаида вела себя как должно? Не всякое ли утро встречал бы я мучением?

не всякая ли ночь омрачала бы меня тоскою, страданием?»

Сколько я ни был счастлив, однако ж не мог не заметить, что моя милая Диана начала изменяться в лице и нраве. В ласках ее вмешивалось какое-то принуждение, какое-то неудовольствие, какое-то отвращение, и я очень встревожился. Со всею строгостью беспристрастного судии я пробежал в мыслях все поступки свои, все слова, все движения и не находил ничего, чем бы мог подать повод хотя к малейшему на себя нареканию. Я даже заметил, что и Калиста подвержена была равной со мной участи. Диана день ото дня становилась к ней холоднее; я старался отгадать тому причину, настоятельно расспрашивал, и бедная девушка всегда отвечала мне со вздохом: «Я думаю, что Диана нездорова! Как жаль, что она скрывает источник своей болезни!»

Сыну моему исполнился год возраста, и дон Альфонс расположил день рождения своего внука праздновать самым торжественным образом. Жена моя еще за три дня отправилась в монастырь блаженной Клары, дабы там попоститься. Тесть мой также вздумал набожничать и накануне праздника уехал в пустыню преподобного Франциска.

Почему и не так? говорил я: что многие народы называли бы излишеством, то для испанца составляет

набожность.

Настал незабвенный для меня день – день рождения моего сына, день, встреченный с чувством истинной радости и проведенный в горести и сетовании. С восходом солнечным весь дом наполнен был суетою и приготовлением к празднеству. Прошел полдень, и гости начали собираться. Все изготовлено, и единственную остановкою было отсутствие жены моей и тестя. Солнце склонилось к западу, а ожидаемых нами особ нет как нет. Нетерпение и беспокойство разлилось по всему обществу; все попеременно подходило к окнам, выглядывали, пожимали плечами и не знали, что заключить об этой странности. Наконец, вошел старый Диэго, дворецкий дона Альфонса. Он с робостью осмотрелся, подошел ко мне дрожащими ногами, подал большой сверток бумаг, залился слезами и поспешно вышел. С неизъяснимым чувством тоски, горести и угрожающей беды я разломал печать и прочел следующее:

«Господин маркиз!

Наконец небо услышало мои молитвы, и я блаженствую.

Когда вы читаете эти строки, то у вас уже не будет ни тестя, ни жены, а будут смиренные богомольцы Амвросий и Доминика. Так, господин маркиз, Диана поручила мне уведомить вас, что, не могши сберечь любви вашей, она не дорожит

светом и жизнью. Она искренно желает вам счастья с Калистою, которая хотя преступила законы дружбы, родства, гостеприимства, но она прощает ее. Сына вашего, Альфонса, я делаю наследником всего моего имения и прилагаю законные на то свидетельства. Переписка ваша с неблагодарною Калистою также препровождается. Дочь моя в последний раз просит вас забыть о ней и не искать случая ее видеть. Она уверяет, что везде найдет блаженство, где только не будет встречать вероломного и вероломной. Будьте спокойны, г-н маркиз, если соблаговолит на то праведное небо! Вас не забудет, в молитвах своих, смиренный *Амвросий*».

Кто опишет великость бедствия, столь мгновенно меня постигшего? Я лишился чувств и когда пришел в себя, то увидел, что лежу в постеле. Клодий и Бернард сидели у ног моих и плакали. «Милосердный боже! – сказал я, получив употребление языка, – или я видел ужасный сон, или и подлинно сделался несчастнейшим человеком!» Я не ожидал выздоровления и, однако ж, выздоровел и на собственном опыте дознал, что как радости, так и печали житейские невечны. Первое употребление возвращенных сил было – лететь в обитель Клары; но мне было отказано в свидании с Дианою. Все мои письма к сей

неумолимой возвращаемы были нечитанные. Плотные покрывала, в коих закутывались все инокини, не позволяли мне отличить мною искомую. Каждый день я посещал сию обитель и каждый день возвращался домой в тоске и горести. Так прошло полгода, и – я получаю горестное известие о кончине Дианы. Мне дозволено было видеть ее в гробе: я видел, и ручьи горьких слез текли из глаз моих. Пребывание в Испании сделалось для меня нестерпимо. Куда же обратиться?

В отечестве ожидали меня насмешки, а может быть, и оскорбления. Можно ли найти лучшее убежище, кроме Италии, где, вероятно, и не слыхали о похождениях маркиза де Газара? Чувство любви к сыну Леонарду оживилось в душе моей; я утвердился в этих мыслях, распродал имение дона Альфонса, простился с ним письменно и, оставя при себе одних Клодия и Бернарда, распустил прочих служителей и с маленьким Альфонсом отправился в столицу Христианства. Я предположил вести жизнь самую скромную, уединенную и остальные дни посвятить на воспитание сыновей своих.

Достигнув Рима, я остановился жилищем в предместьях города, подле полуразвалившегося храма Дианы. Лучшим препровождением времени считал я блуждать среди этих обломков, обновлять в душе сво-

ей образ моей незабвенной Дианы, легковерной, мечтательной, но всегда драгоценной для моего сердца. Дети мои подрастали; снедающая меня горесть превратилась в томное ощущение потерь моих; я спокойнее начал смотреть на небо, на землю, на самого себя.

Главнейшими занятиями моими были посещения библиотек, картинных галерей, музыкальных зал, церковных ходов и тому подобное. Так прошла часть лета, осень и зима. Проходили целые дни так, что я не прежде вспоминал об Аделаиде и Диане, как увидя Леонарда и Альфонса.

Так-то подвержено все непрерывным переменам на лице земли.

В начале весны весь Рим возмутился. Причиной этому было появление прекрасной сицилианки Лорендзы. Народная молва предупредила ее прибытие. Мне сказывали достоверные люди, что она за несколько лет была театральною певицею в Палерме и восхищала народ как прелестями лица, так и приятностью голоса. Пожилой граф Тигрелли пленился ею несказанно и предложил к услугам ее свое золото. Против его чаяния и противу всех обыкновений красотка с презрением отвергла такое приношение, и бедный любовник в пылу страсти предложил ей свою руку. Его выслушали благосклонно, и вскоре прелест-

ная певица сделалась графинейю.

Достижение важного звания в обществе не всегда приносит с собою благоразумие. Лорендза и не думала переменить образа жизни и по-прежнему пела, но только не на театре и не за денежную плату, а в кругу знатнейших собраний – из одних лестных ей похвал и рукоплесканий.

Сперва граф Тигрелли морщился и вздыхал, потом начал ворчать, а наконец браниться и грозить. Лорендза расплачивалась тою ж монетой, и вскоре они совершенно друг другу опротивели. Граф, владея большим имением и пользуясь – по званию своему – знакомством и дружбой многих знатных и сильных людей, так умудрился, что прелестная супруга его ничего не предчувствовала, как получена была из Рима булла^{15}, в силу которой брак их расторгнут, и Лорендза одним разом потеряла и мужа и графство, но не бедность. В жару гнева и негодования оставила она чертоги графские и вознамерилась веселою, непринужденною жизнью вознаградить себя за два скучные года, проведенные под властью угрюмого мужа. Граф, с своей стороны, был несколько причудлив. Сложив с себя охотно звание супруга, он никак не хотел оставить ревности и преследовал бедную Лорендзу в самых невинных удовольствиях ее.

Каждый шаг ее был опорочен, каждое слово дур-

но перетолковано, словом сколько было у нее прежде друзей, столько нашлось теперь врагов, гонителей. Она возненавидела неблагодарное отечество, которое увеселяла столько времени своими дарованиями, собрала все свое имущество, которого было на довольно значительную сумму, и отправилась в Рим, чтобы там проводить жизнь покойную, независимую.

Она не ошиблась в своем ожидании: где ни являлась прелестная сицилианка, так обыкновенно ее называли, повсюду встречаема была восторгами удивления, всюду сопровождается страстными взорами и вздохами. В первый раз я увидел ее в церкви Св. Петра и окаменел от удивления. Ничего подобного я в свете не видывал, ни таких пламенных глаз, ни такого ослепляющего белизной лица, ни такого стройного стану. «Нет, – думал я, – граф Тигрелли не так безумен, как говорят о нем! Чем бы не пожертвовал я, только б воспользоваться правами супруга Лорсндзы!»

Я нашел случай войти в дом этой Нимфы-очаровательницы и умножил собою число страстных воздыхателей.

Вскоре показалось мне, что и меня отличают от прочей толпы, и надежда придала мне смелости. При первой удобности я упал к ногам ее, открылся в пламенной любви и предложил руку свою, богатство и

звание маркизы. «Государь мой! – отвечала Лорендза со всею прелестью чистосердечия, – я не так уже молода и неопытна, чтоб не заметила чувствований, какие вы с некоторого времени ко мне питаете; признаюсь охотно, что из всех мужчин, которые изъявляли здесь любовь ко мне, я отдаю вам преимущество и готова соединить судьбу свою с вашею. Однако ж, будучи несчастна первым супружеством, я старалась найти тому причины и нашла, что сколько ни виновен граф Тигрелли, но не меньше того и я сама. Я никогда не должна была забывать первобытного моего состояния и весьма не скоро вмешиваться в общества так называемого большого света. Чтоб роза могла цвести долее и приятнее, не надобно ей беспрестанно стоять на солнце. Итак, г-н маркиз, если вы думаете быть со мною счастливы, то приищите где-нибудь в пределах Италии уединенное жилище, как можно отдаленнее от городов столичных. Там проживем мы если не всю остальную жизнь, то по крайней мере несколько лет, в продолжение коих исчезнет в памяти людской мысль о палермской певице Лорендзе, и если необходимо надо будет опять явиться в шумных обществах, то они встретят уже настоящую маркизу».

За такую милую откровенность я поблагодарил Лорендзу, осыпал руки ее страстными поцелуями и клялся, что предположенный ею план для будущей жиз-

ни совершенно согласен с моими склонностями. Мы условились, чтобы при посторонних людях ни мало не обнаруживать наших взаимных намерений.

Скоро нашелся случай обзавестись мне домом в Италии, и я считал, что прелестная эта земля сделается новым моим отечеством. Я купил в Калабрии богатое графство Жокондо и под этим новым именем отправился туда с обоими сыновьями в сопровождении Клодия, Бернарда и Терезы. В ожидании Лорендзы я сколько можно лучше украсил замок, домашнюю церковь и обширные сады: нанял приличное число слуг и служанок и принял странствующего чичерона² Дживовано в качестве домашнего секретаря и рассказчика. По прошествии месяца пребывания моего в замке Жоконде прибыла прелестная невеста, и – я сделался счастливым супругом.

Не буду описывать того блаженства, коим наслаждался я в объятиях любви, мира, непрерывного спокойствия. Год прошел как один веселый день, и Тереза нянчилась уже с юным Пиетром, залогом взаимной нашей нежности. Общество наше составляли соседние дворяне, люди, конечно, простые, воспитанные среди лесов Калабрийских, но добрые, бесхитростные. В ведренные дни я нередко занимался охо-

² Так называются в Италии люди, кои показывают другим всякие редкости и рассказывают об них все подробности. (*Примеч. Нарезного.*)

тою, а в ненастные беседую с Джиованом. Этот новый чичерон был довольно учен, много путешествовал и говорил приятно. Хотя я знал, что он не очень строгих правил, но мне какая до того нужда? Я всегда думал: не осуждай, да не осужден будеши!

Так прошел еще год, и я начал думать о поездке в Реджио, дабы милую жену мою позабавить городскими увеселениями, так давно ею кинутыми. В один день, когда я перед полуднем, сидя в беседке моего сада, делал расчет, чего будет стоить предполагаемая поездка, вошел ко мне Бернард и таинственно сказал: «Простите, г-н маркиз, если я, от избытка усердия, скажу что-нибудь, может быть, неосновательное. Незадолго пред этим я видел, что в каштановой роще, по дороге к селению, наш Джиовано от неизвестного господина принимал большой кошелек с золотом. Какая б нужда была сноситься незнакомцу с здешним чичероном? На что тут деньги, если дело чисто? Боюсь, не кроется ли тут измена?»

Едва кончил он слова эти, как в дубовой аллее раздался ужасный крик, вопль, рыдание. Я сильно встревожился и выбежал из беседки. Что ж увидел я? Клодий и Тереза в величайшем беспорядке, последующие множеством слуг и служанок, спешили ко мне – ломая на руках пальцы.

«Ах, г-н Маркиз! – вопиял Клодий, – теперь-то нуж-

но вам все присутствие духа! приготовьтесь к перенесению самой большой потери, какой только могли вы страшиться». – «Что такое?» – спросил я и почувствовал, что кровь во мне начинает леденеть. «Г-жи Маркизы...» – отвечал Клодий, и рыдания его усилились. «Говори, – закричал я вне себя, – что такое случилось?» – «Ее нет более!» – сказала с воплем Тереза. Я окаменел; голова закружилась; в глазах потемнело – я лишился чувств.

Пришед наконец в себя, я приказал объяснить мне подробно, каким гибельным случаем лишился я жены и счастья? Клодий сказал следующее: «Сегодня, явившись к г-же маркизе для получения дневного приказа, я застал уже там Джиовано. Он рассказывал, что одна поселянка, готовящаяся к смерти, изъявила сильное желание повидаться с госпожею и вверить ей весьма важную тайну, отчего зависит спокойствие последних минут ее. „Хорошо, сказала маркиза, – желания умирающих должны быть исполняемы. Клодий! Тереза! проводите меня“. – „Богоугодные дела, – заметил чичерон с набожным видом, – не требуют свидетелей!“ – „Однако ж, – ответила маркиза, – и благоприличия никогда забывать не надо. Клодий! Тереза! следуйте за мною“.

Когда пришли мы в каштановую рощу, то откуда ни возьмись, как будто с неба, упало письмо к ногам мар-

кیزی. Я поспешил поднять и, видя надпись на ее имя, подал ей. Не без смущения развернула она бумагу и чем далее читала, тем приметнее было ее изумление; руки ее стали дрожать, и – вдруг – милосердный боже! раздается выстрел, и маркиза, обливаясь кровью, поверглась на землю. Чичерон поднял вопль и хотел бежать, но только не к замку, а в противную сторону. Я остановил его и закричал:

„Нет, злодей! ты не уйдешь отсюда. Вижу, что это гибельное происшествие тобою приготовлено!“ На общий наш крик и плач прибежали из деревни крестьяне и крестьянки.

Мы положили бездыханные уже останки добродетельной маркизы на носилки и принесли в замок. Изверга Джиовано велел я запереть в башню замка впредь до вашего о нем повеления. Вот и роковое письмо, кинутое к маркизе невидимую рукой».

Я развернул гибельную бумагу и прочел следующее:

«Я не знаю, как назвать тебя, Лорендза! Назову неблагодарною, злобною, развратною, несчастною! Разве не довольно награждена была ты за оказываемые мне ласки не более двух лет, что и по расторжении нашего постыдного брака дозволено было тебе без наказания пользоваться именем, собранным на театре и в моем доме? Не говорил ли я тебе в Палер-

мо, не писал ли в Рим, что честь знаменитого моего имени требует, чтобы ты, хотя и оставленная супруга, не дерзала никому отверзать своих объятий, иначе гибель твоя неизбежна. Неужели думала, безрассудная, что слова графа Тигрелли только пустой звук, теряющийся в воздухе? Ты осмелилась презреть слова мои и должна в этом раскаяться. Очень лукаво поступила ты, скрывшись в трущобы Калабрии, и я очень долго искал тебя, пока нашел. Честный Джiovано доставляет мне случай видеть тебя в уединенном месте, наслаждаться неизъяснимым удовольствием рассматривать этот ужас, простершийся по лицу твоему, эту дрожь, потрясающую все члены твои, эти мутящиеся глаза, эти бледные полуотверзтые губы; — умри, несчастная!»

«Какое пагубное стечение обстоятельств! — говорил я. — Какой злой рок меня в женах карает! Я лишился и третьей, и все насильственным образом! Боже правосудный! за какие добродетели я имею троих сыновей? за какие преступления ни один из них не имеет матери?»

Я стонал, рвался и проливал горькие слезы. Никакие утешения окружающих меня не касались моего сердца.

Я не хотел видеть детей, а особенно бедного, маленького Пиетро, и не знал, буду ли в силах взглянуть

на ту, которая до сего времени составляла все утешение моей жизни, всю прелесть ее, – увидеть в гробе ту, которая за несколько часов была в моих объятиях! Ужасно! нестерпимо!

Развернув нечаянно роковое письмо, я нахожу приписку, всматриваюсь и читаю эти строки: «Предполагая наверное, что предыдущее письмо вместе с трупом преступной Лорендзы представлено будет маркизу де Газару, я долгом считаю с ним объяснить. Как дворянин, он должен знать, что и я также, как дворянин, не мог быть равнодушен к оскорбительнице моей чести, к поругательнице моего имени, перешедшей после моих в чужие объятия.

Может быть, маркиз, как француз, вздумает горячиться, вопиять об отмщении; в таком случае напоминаю, что я сицилиец, а не грек, и ни пред кем в свете не уклонюсь от вызова. Я родственник Этны. Однако по совести уведомляю, что битва наша будет весьма неровная. Если падет маркиз, то я без всяких дальних усилий от хлопот отделаюсь. Два кардинала – мои дяди; три архиепископа одолжены дому нашему своим возвышением; первый министр при неаполитанском дворе – мне двоюродный брат, да и сам я кое-что значу в Палермском Сенате; пусть судит маркиз, сколько я найду ходатаев, защитников! Если же он останется победителем, то сколько явится к обви-

нению его сильных людей, которые ничего не пожалеют, только бы увидеть победителя моего на эшафоте. Итак, советую: приведши в порядок семейственные дела, приезжать в Венецию; там буду я ожидать его ровно четыре месяца, и меня можно будет найти в гостинице под вывеской Зеленой чалмы. Советую дружески, прежде нашей битвы найти корабль, отправляющийся куда-нибудь подальше от Италии, где бы уже власть графов Тигреллиев была безмолвна. Если ж, чего и ожидаю от благоразумия маркизова, по пришествии крови его в порядочное течение он опомнится и я не увижу его в Венеции во все свое там пребывание, то сочту, что он отдал мне справедливость, и не усомнюсь побывать в замке его Жокондо».

«Никогда, – вскричал я, – вскочив на ноги в крайнем бешенстве, – никогда дыхание изверга не осквернит воздуха, коим дышала нежная Лорендза; никогда». Тут Клодий и другие слуги старательно посадили меня в кресла, и я опять погрузился в мрачное уныние.

Зачем представлять вам, друзья мои, ту горечь, ту отчаянную бесчувственность при всем чувствовании своих несчастий, в каких провел я первые три или четыре дня по плачевной кончине Лорендзы. В это время прекрасное тело моей супруги поставлено в маленькой капелле под сводами замка. Расторопный Клодий взял к себе ключи от этой печальной юдоли,

дабы я не покушался более туда заглядывать и тем растравлять свои раны.

По прошествии некоторого времени, когда горесть непомерная превращается в кроткую унылость, и я начал уже думать и говорить о других предметах, кроме как о моей Лорендзе и об ее кончине, Клодий сказал мне откровенно:

«Г-н Маркиз! по моим мыслям, время уже заняться делами вне вашего замка. Вы отец троих сыновей, это не безделица; вы дворянин и – обижены, это также дело нешуточное. Впрочем, воля ваша – наш закон! Если вы намерены графа Тигрелли оставить в покое, то займитесь по-прежнему приемом гостей, охотой, или...» – «Клодий! – вскричал я, – вероломного, хищного графа оставить без наказания? Да покарает меня бог и в этой жизни и в будущей, если я окажусь столь недостойным звания, в коем родился, воспитан, вырос и возмужал!» Лучи удовольствия просияли в глазах Клодия, и он отвечал: «Если в эту минуту взирает на вас блаженной памяти родитель ваш, то дух его исполнится неизъяснимого удовольствия. Но, г-н маркиз! в продолжение двухлетнего вашего здесь пребывания вы успели узнать италийцев. Я думаю, что никакая сторона Европы не спасет вас – рано или поздно – от аквы тофаны³». – «Как же быть? – спросил

³ Самотончайший яд, действующий мгновенно или медленно, смотря

я с неудовольствием, – неужели для того, чтоб быть в безопасности, я должен заточиться в пустыни сибирские или канадские и погребсти там сыновей своих, а с ними все мои надежды на удовольствие, какое могу еще найти в свете?» – «Милостивый государь, – отвечал Клодий, – я знаю одно место в юго-восточном краю Европы, где может найти верное убежище всякий, такого ищущий. Это место называется Запорожская Сечь и лежит недалеко от порогов Днепра, где вливаются воды его в Черное море. Первоначально поселились там разного звания малороссияне, не находившие в отчизне своей ни крова, ни пищи. Чтобы предохранить себя от ссор, непорядков и раздоров, могущих небольшую республику эту ниспровергнуть, храбрые люди эти положили неперменным законом не иметь при себе не только жен, но даже чтоб ни одна женщина не переходила ворот их города. Но как и самые небольшие общества имеют нужду в ремеслах, рукоделиях и искусствах разного рода, а посвятившие себя единственно военному делу люди неудобно и неохотно могут заниматься чем-нибудь другим, кроме оружия, то запорожские казаки дозволяют и казакам жениться и заниматься куплею и продажею нужных вещей, но с тем, чтобы такие промышленники жили вне города Сечи, в предместьях и на хуторах вместе с

женами и детьми. Там дозволяется жить и торговать христианам всех исповеданий, магометанам разных поколений, жидам и язычникам.

В приеме в казаки старшина⁴ совсем не заботится, кто из желающих сделаться запорожцами – какой веры, какой земли, звания, поведения; равным образом, не выспрашивать, что принуждает кого, оставя отчизну, искать у них убежища. Там есть английские лорды, испанские доны, французские графы и маркизы и проч. и проч. Но при вступлении в это особенного рода общество, подобно как при посвящении в монашество, надо оставить все прежние титулы и знаки отличия; там все равны: сегодня кошевой атаман или судья, а завтра простой казак; при принятии нового собрата ему дают прозвание, какое вздумается, бреют голову, оставляя один оселедец⁵, и этот профан в короткое время становится посвященным в таинствах запорожских.

Не доброе ли дело сделаете вы, г-н маркиз, – продолжал Клодий, воспламенясь собственным описанием прелестной Сечи, – когда прежде низложения нечестивого графа Тигрелли отправите с Бернардом

⁴ Этим именем вообще называются все начальники, как то: войсковой и куренные атаманы, судья и проч. (*Примечания Нарезного.*)

⁵ На макушке головы небольшой клочок волос во всю их длину, который завивается за ухо.

и Терезою детей своих в пределы Запорожские? Там поселятся они или в предместий или на каком-нибудь хуторе. Старшие два сына ваши и до сих пор не знают, что вы отец их, а меньшей в таком еще возрасте, что ничего и понимать не может. Снабдите Бернарда достаточною суммою денег, дабы он мог явиться в Запорожье под видом иностранного купца. Он расторопен и скоро в каком-нибудь серомахе⁶ признает или лорда, или дона, или маркиза и поручит ему воспитание мнимых детей своих. Если вы – от чего господь бог да сохранит – падете под ударами сицилиянца, то я, оплакав потерю эту невозвратимую, положу гроб ваш подле гроба Лорендзы и, взяв все имущество ваше, соединюсь с малютками и порассужу с Бернардом, что далее с ними делать.

Если ж, чего и ожидаю и о чем молю бога, вы останетесь победителем, то мы вместе сядем на корабль и отправимся в землю гостеприимную».

Авенир умолк и устремил испытующие взоры на лица юношей. Они казались сильно пораженными; робко взглядывали на старца, друг на друга и потупляли взоры в землю. Астион первый оправился, встал со скамьи и изменившимся голосом сказал: «Как? милосердный боже! неужели наши родители, Бернард и

⁶ Так назывались казаки, кои по беспечной жизни не имели у себя даже необходимых вещей. (*Примечания Нарезного.*)

Тереза... – ах! почтенный атаман! разрушь мучительное сомнение мое и моих товарищей!» – «Так! – сказал Авенир величественно, и взоры его заблестали, – так! приблизьтесь, дети, обнимите отца вашего».

Кто опишет восторг и вместе смятение, с каким молодые воины погрузились в объятия родительские! Все они проливали радостные слезы, целовали чело его, руки и не прежде отошли от одра недужного, как старый Вианор, не меньше их растроганный, сказал: «Как? неужели дети хотят несвоевременными ласками умертвить того, которого не могли низложить сабли турецкие и стрелы татарские?» – Юноши устыдились сего выговора, сели на скамье и уставили неподвижные взоры на лицо отца своего, ловя каждое его движение. «Молодые друзья мои, – сказал Авенир, – неужели сердца ваши не говорят вам ясно, кого видите вы в сем добродушном старце, который был вашим дядькою в младенчестве, вашим защитником в отрочестве, вашим руководителем в юности? Вы видите в нем моего друга, Клодия!»

Юноши опрометью бросились к старцу, повисли на шее его, и слезы свои смешали с его слезами. «Вианор! – сказал Астион, – все, что ты сделал для отца нашего и для нас, достойно имени верного дружества. Прими сердечную благодарность нашу и удостои прежней любви твоей. Но, родитель мой! кто же

из нас...» – «Сядьте и успокойтесь, – отвечал отец, – вы услышите короткое описание дальнейшей жизни моей и последнюю волю мою. Ты, Астион, изъявил желание знать, кто из вас которую из жен моих имеет своею матерью? Самой возраст ваш показывает, что ты обязан рождением вероломной Аделаиде; ты, Эраст, – мечтательной Диане, а ты, Кронид, – пламенной, чувствительной Лорендзе. Успокойтесь и слушайте далее.

Я последовал совету добродушного Клодия. Снарядив детей в столь дальнюю дорогу, я поручил их попечениям верных слуг, Бернарда и Терезы, снабдив их достаточною суммою денег и пространными наставлениями, как вести себя в незнакомых землях и как уведомлять меня о своем состоянии. Расставшись с этими предметами, привязывавшими меня к жизни, я простился с драгоценным прахом незабвенной Лорендзы, воспламенил в сердце своем всю силу гнева и мщения к злобному ее убийце, отпустил италийских служителей и, заперши со всех сторон замок, в сопровождении верного Клодия пустился в Венецию. Я достиг благополучно сей столицы купцов-сенаторов и остановился в гостинице под знаком Зеленой чалмы. Следуя внушению благоразумия, я решился никуда не выходить из комнаты и никому не сказывать настоящего своего имени, пока Клодий не отыщет ко-

рабля, отправляющегося или в Триест или в Стамбул. В этом, так сказать, всемирном порте я не долго ожидал сего случая. Менее нежели через неделю Клодий известил меня, что один надежный, греческий корабль через день отправляется в столицу оттоманов.

„Ну, – отвечал я, – мешкать более нечего. Настало решительное время; или моя честь и честь моего отечества будут отмщены, или кости мои успокоятся на целые веки подле костей незабвенной Лорендзы“.

Поутру следующего дня, условясь с Дамианом, корабельщиком, о цене за прием двоих нас на свое судно и за содержание во время пути, я тот же час велел перенести на оное все свои пожитки и ждать нас на другой день рано поутру.

Вошед в огромную залу гостиницы, наполненную уже множеством народа, упражненного различными занятиями, я начал искать моего противника. Проходя мимо столов, из коих за некоторыми играли в карты, за другими пили кофе, за иными ели закуски и забавлялись винами, я увидел на конце залы, в углубленном нише, пожилого человека в богатом сицилийском наряде. Он был высокого роста, с бледными щеками, а черные густые брови, нависшие над мрачными, впалыми глазами, делали вид его столь мрачным, что я из любопытства остановился и пристально его рассматривал. Он также поглядел на меня вниматель-

но, и вскоре глаза его заблестали, щеки покрылись румянцем.

Он встал, подошел ко мне с горькою улыбкой и, устремив на меня взоры, сказал: „Я вижу, по вашей одежде, что вы иностранец: не могу ли чем услужить вам? я граф Тигрелли“.

Хотя при первом взгляде на сего незнакомца сердце мое несколько стеснилось, но теперь, при звуке его голоса, при его имени, оно затрепетало, онемело, и я молча его рассматривал. В таком неприличном положении, может быть, я пробыл бы и долго, если б мой ангел-хранитель не шепнул мне на ухо: „Ты маркиз де Газар! припомни ж всегдашние наставления отца твоего“. – Мгновенно я воспламенился и, подойдя поближе к графу, сказал равнодушно: „Я – маркиз де Газар!“ – Граф взял меня за руку и, подведя к окну, сказал: „Благодарю, что не заставили меня долго дожидаться. Не знаю, каких вы мыслей в теперешних обстоятельствах, а думаю, что одних со мною.“

Путь, нами предпринимаемый, так далек и важен, что без хорошего запаса пускаться в оный считаю я делом крайне безрассудным; итак, окончание нашего спора отложим до завтрашнего дня, а весь сегодняшний я намерен посвятить посту, молитве, раскаянию и благотворению. Завтра – самый отдаленный от Венеции островок по направлению к Истрии служит

для здешних жителей кладбищем. Там нет иных обитателей, кроме одного старого монаха, проживающего в хижине подле обветшалой капеллы. На западном берегу у самого моря возвышается черная мраморная гробница. Сейчас я пошлю туда нарочных работников, кои выкопают могилу. Завтра поутру постарайтесь, г-н маркиз, быть там до начатия обеда, чтобы приезжающие с трупами для похорон и отправления панихид над усопшими не помешали нашему делу. Я не возьму с собою более одного слуги, и вам, думаю, больше брать не надо. Согласны ли, г-н маркиз?“ – „Совершенно!“ – Тут он, поклонись вежливо, вышел из залы; равномерно и я уединился в свою комнату.

Долго сидел я неподвижно, углубясь в размышления.

Тень моей Лорендзы! улыбнись ко мне из селений райских; или кровь твоя будет отомщена, или я скоро соединюсь с тобою! Эта мысль делает для меня смерть не только сносною, но даже усладительною!

Написав завещание, в коем, разумеется, сделал Клодия: душеприказчиком, подробно определил все статьи касательно детей моих и имения. Обедал с добрым вкусом. Под вечер был я в сборной комнате, но графа Розина там не видно было. В полночь я заснул, и во всю ночь мечталась мне Лорендза во всем блеске своих прелестей.

Едва взошедшее солнце осветило поверхность моря и кровли пышных палат венецианских, я вскочил с постели и начал одеваться, не дожидаясь Клодия; однако он скоро явился и известил, что у ворот дома уже готова гондола.

Я вооружился шпагой и двумя пистолетами и, вышед из гостиницы, чтоб никогда уже в нее не возвращаться, сел в гондолу и пустился к кладбищенскому острову. Еще издали увидели мы черную мраморную гробницу. Признаюсь откровенно: доселе спокойное сердце мое сильно затрепетало от какого-то ужаса; от смерти и убийства кровь застывать начинала. Я тотчас вынул табакерку с изображением Лорендзы, и кровь снова воспламенилась в жилах моих. Я жаждал мщения, и в таком расположении моего духа пристала гондола к берегу, на который вышед, увидел, что граф стоял уже у вырытой могилы, держа под левою рукой обнаженную шпагу. В некотором отдалении стояли слуга его и старый инок. Последний был очень печален и казался молящимся.

Собравшись со всею бодростью, я подошел к графу и сказал дружески: „Какое прекрасное утро! Оно очень подобно тому, в которое разлилась по земле невинная кровь прелестной Лорендзы“. – Лишь только последняя мысль, клянусь, нечаянно пролетела сквозь мою душу и в воздухе разнеслись слова кровь Лорендзы, –

как я наполнился бешенства и, отступя на несколько шагов, обнажил и свою шпагу. Тут граф, подняв на меня глаза, из коих выскакивали тусклые искры гнева и негодования, сказал: „Повремените, г-н маркиз! в этом почтенном старце видите вы отца Бартоломея, который, склонясь на мои просьбы, обязался предать земле останки того из нас, который падет на землю. Не щадите меня, ибо откровенно говорю, что и вас щадить не стану. Жизнь одного из нас была бы для другого вечным терзанием. Непременно надобно одному улечься в этой могиле до общего восстания; но совесть требует прав своих и хочет, чтобы и ничтожной части нас самих отдано было почтение, по обряду веры; итак, не противься отцу этому исполнить последний долг сей, равно как и я святым долгом поставляю совершить то же над тобою!“

Проговоря слова эти, он скинул на землю мантию и камзол; я то же сделал с своею одеждою, и мы начали бой.

Я не буду распространяться в описании сего ужасного происшествия; довольно сказать, что я в графе Розине нашел такого противника, какого не ожидал найти во всей Италии. С каждою проходящею минутою неистовство наше умножалось. Я ранен был уже в левую руку и в правой бок, и кровь моя полилась на землю. Это утроило мое бешенство, я собрал все

силы, соединил их с искусством, отбил решительный удар, и шпага моя по самый эфес вошла в грудь противника. Кровь его брызнула мне в лицо и заслепила глаза. Все чувства мои взволновались с таким смешением, что я лишился употребления оных; машинально выхватил шпагу из груди графа, отскочил вправо шага на два, задрожал и упал на землю. Все это произошло в одну минуту.

Когда я приведен был в себя и встал на ноги, то первый предмет, мною усмотренный, был – охладевший труп графа Розина. Бартоломее и слуга его, стоя на коленях, проливали слезы. Я подошел к ним и также прослезился. Бартоломее, вставши, сказал: „Благодарите милосердное небо, которое, даровав вам эту победу, дает время на исправление и на заглажение этого убийства. Спешите удалиться в верное убежище; я один с этим верным слугою отдам последний долг сему несчастному. Видите ли вдали развевающиеся черные флаги? Это знак, что погребательные суда уже в пути на этот остров. Если кто-нибудь вас здесь настигнет, то опасность неизбежна!“ – С растерзанным сердцем бросился я с Клодием в гондолу, и мы пустились далее в море, к кораблю Дамианову, куда прибыв, взошли на оный; после сего тотчас началось предназначенное плавание.

Путешествующие по морю имеют гораздо бо-

лее возможности предаваться размышлению, нежели проезжающие по сухому пути. В первом случае мы не видим ничего, кроме необозримой поверхности водной и бесконечного шара небесного; ничто нас не развлекает; самый шум волн, рассекаемых носом корабля, увеличивает наклонность нашу к задумчивости. Сидя один в своей каюте, я обозрел всю цепь жизни моей и нашел, что то чувство, которое столько прославлено во всех веках и у всех народов, которое кажется одною из важнейших причин, приковывающих нас к жизни, что чувство любви было для меня источником истинного мучения. Страстно любил я милую Юлию и принужден был, гордостью и высокомерием ее, оставить; со всею нежностью привязан был к прелестной Диане, и она оставила меня по внушению пагубного суесвятства; со всем пламенем сердечным боготворил я несравненную Лорендзу и жестоким образом лишился ее.

О любовь, любовь! чувство сколь сладостное, животворное, столько горестное, смертоносное! Нет! никогда не поддамся уже этой губительной страсти! хотя мне немного более тридцати лет, но должен быть доволен тремя опытами – продолжать еще испытания было бы безрассудно!

Сердце человеческое никогда не должно быть пусто; иначе оно уподобится древней гробнице, вмеща-

ющей в себя одно отвратительное тление. Итак, чтобы всегда быть заняту, я познакомился с одним пожилым греком Орестом и начал учиться от него языкам греческому и турецкому, Как корабельщик Дамиан, так почти все, находившиеся на корабле его путешественники, были купцы, а потому они по торговым делам останавливались у многих островов греческих, и мы не прежде приплыли в пролив Дарданельский, как чрез четыре месяца по выходе из залива Венецианского, и я столько ж успел в помянутых языках, что мог довольно исправно вести простой разговор. По совету моего учителя Ореста я, будучи еще на корабле, переделся в греческое платье; Клодий мне последовал. Это сделано не для того, чтобы в столице варваров не было европейцев, одетых в платья стран своих, но потому, что греков было более всех; следовательно, в этой одежде одетые менее обращали на себя внимания, а мне того и хотелось.

При выходе с корабля, я и Клодий сказались также греческими купцами, получили от досмотрщиков пропускные виды и, прибыв в город, остановились на греческом подворье.

Приятели мои, греки, узнав, что имею значительную сумму как в наличных деньгах, так и в дорогих вещах, искренно мне советовали сделаться настоящим купцом, какое звание у турок гораздо почтитель-

нее, чем в других землях европейских. Я охотно было склонился на такое предложение и готовился на две трети моих денег закупить товару, как разнесшийся по всему Стамбулу правдивый слух, что богатый жид Мисаил по доносу, что когда-то и где-то делал невозволительное предложение какой-то турчанке, лишился головы и все имение его отписано на султана, сделал меня благоразумнее, и я поудержался объявить о своем имуществе. Располагаясь всю наступающую осень и будущую зиму провести в столице оттоманов, я поручил Клодию съездить в Запорожскую Сечь и проведать, что делают Бернард и Тереза с детьми моими. Клодий отправился в путь, а я на место его нанял пожилого грека Кириака и начал вести жизнь тихую и скромную, тщательно избегая знакомства с турками, а и того более с турчанками.

Для знаменитого француза, привыкшего к шумным обществам, где женщины представляют первых лиц и разливают вокруг себя игры и смехи, проживать в Стамбуле значит почти то же, что томиться в иностранной темнице.

Самым занимательным препровождением времени для меня было посещать греческие монастыри и церкви или провожать султана от дворца до главной мечети и оттуда назад. Обращаясь беспрестанно с греками, я усовершенствовался в языке их, а с тем

вместе привык к обрядам их богослужения. Час от часу обряды эти мне более и более нравились, и наконец, я, нимало не обинуясь, в начале зимы торжественно посвящен в сыны греческой церкви и наречен Авениром. Немного времени спустя с нарочным посланным татаринoм получил я письмо от Клодия, из коего узнал, что Бернард со всем семейством поселился в предместьях Запорожской Сечи, и как ему показалось, что управлять семейством и упражняться в торговле гораздо удобнее двоим, чем одному, то он, женившись на сопутнице своей, Терезе, детей моих выдал за своих. Однако ж быв истинно Мне преданными слугами, они не забыли происхождения сыновей моих и приговорили ученого казака, который некогда набирался премудрости в киевской бурсе и, избегая нищеты, обратился искать счастья в Запорожской Сечи. По ночам – ибо открыто заниматься учением почиталось в этой чудной столице большим беззаконием, начал он учить их по-латыни и по-русски читать и писать, и успехи учения его были значительны. С тем же татаринoм я отправил к Клодию ответ, в коем поручал ему принести благодарность мою Бернарду и Терезе за попечение о моих детях. Я приобщил подарки для всего семейства и объявлял, что с наступлением весны, а по последней мере лета, не премину переселиться к ним и основаться постоянным жилищем. Я

строго наказывал, чтобы вам, дети мои, обо мне не иначе было напоминаемо, как о постороннем благодетеле, самом ближнем родственнике и друге отца вашего. Я также известил его о перемене исповедания.

К исходу зимы, в самые сумерки, Кириак ввел ко мне мальчика лет пятнадцати, в турецком платье. „Это несчастный, – говорил слуга с видом большого соучастия, – ищущий у вас покрова, по крайней мере, на одну наступающую ночь. Несчастья его так велики, что он теперь и описать их не в силах. Дайте ему убежище до утра, и вы не будете раскаиваться в содеянии добра невинно угнетенному“.

Такие слова родили в сердце моем живейшее соболезнование, и я с участием друга подал руку молодому, робкому гостю. Мы ужинали вместе, и после, указав ему диван, я разделся, лег в постелью и уснул покойно, радуясь об услуге, оказанной ближнему, хотя и разноверцу.

В самую полночь я разбужен был сильным стуком в Двери моей спальни. Встаю поспешно, ощупью пробираюсь и отворяю. Кто опишет мое изумление, когда за порогом увидел я при свете многих фонарей четырех вооруженных турок и в середине их кадия. Мгновенно ворвались они в мою комнату, осветили ее и подняли вопль, нашед моего гостя. „Славные дела производят христиане, – возгласил кадий, – во-

влекая правоверных в грехи, которых великий пророк никогда не прощает! Обыщите всю комнату тщательно, и что покажется подозрительным, возьмите с собою; немудрено, что такой дерзкий неверный имел намерение обольстить жен наших и дочерей и на этот предмет вел уже переписку. Не много будет, если осудят его испустить дыхание на коле“.

Когда благочестивый кадий так проповедывал, сопровождавшие его янычары забрали мои баулы, в которых заключались все деньги и драгоценные вещи. Когда молодой турка оделся и вмешался в толпу этих извергов, то кадий сказал: „Ты должен остаться здесь под крепкою стражею до утра, ибо в делах такого рода поутру рассуждать гораздо пристойнее, чем ночью. Ты, Гассан, и ты, Омар, останьтесь за дверьми и блюдите крепко, чтоб преступник не ускользнул из рук правосудия, а мы отправимся куда надобно“.

Они все вышли и заперли двери снаружи, оставив меня в темноте глубокой. Я сел на окне и все еще не знал, что мне думать о сем гибельном происшествии. Что, если молодой турка был не что иное, как гнусное орудие скрытого злодейства! Как мог проведать о том кадий? Где был Кириак во время всей суматохи! Истинно ничего не понимаю!

Я думал, передумывал и ни на чем не мог остановиться. Наконец рассвело, я осмотрелся и не нашел

ничего из своих пожитков; даже карманные часы были похищены злодеями. Солнце взошло довольно высоко, а я все еще сидел в горестном безмолвии, ожидая, чем кончится моя участь. Наконец, около полудня, дверь комнаты моей отворилась, я вздрогнул, ожидая увидеть грозного кадия со стражею, – но обманулся; ко мне вошел приветливый хозяин гостиницы с письмом в руках. „Я несколько раз проходил мимо дверей твоей комнаты, – говорил он, – но, не слыша ни малейшего движения, почел, что ты спишь, а Кириак где-нибудь слушает обедню. Теперь только явился ко мне незнакомый жид с этим письмом, надписанным на твое имя, и ключом от твоей комнаты; прочти, пожалуй, и буде нет важной тайны, то скажи и мне, какой есть у тебя приятель в здешней гавани и не думаешь ли ты завести иностранную торговлю. Я родился, вырос и начинаю стареться в Стамбуле, так могу служить тебе добрым советом“.

„Сколько мне известно, – отвечал я, – так в гавани нет у меня ни души знакомой. Но что делают двое янычаров, оставленных ночью у дверей моей спальни на страже и скоро ли будет сюда кадий?“ – „Янычары? Кадий? спросил хозяин с изумлением, – ты, верно, эту ночь спал дурно, что и теперь еще бредишь! Читай-ка дружеское письмо, а я между тем изготавлю прибор самого лучшего кофе; как выпьешь чашки две, то вся

дурь мигом из головы твоей вылетит“. – Он вышел; я с крайним смущением разворачиваю письмо и читаю:

„Почтеннейший Авенир!

Прежде всего поздравляю тебя с совершенною безопасностью от кадия и янычаров. Я, нижайший слуга твой, и несколько искренних моих друзей дожили до седых волос, борясь с нищетой. Наконец, благое провидение внушило в тебя мысль иметь меня в услужении. Сначала я прельщался, восхищался, смотря на твое золото и драгоценности; вскоре ангел-хранитель мой начал шептать мне на ухо: „Фалалей! неужели с тебя довольно зевать только на чужое имущество? Чем ты не человек? и почему не можешь пользоваться оным, как и другие?“ Я послушался этого спасительного гласа, отыскал четырех друзей моих и условился с ними, как действовать. Что могло быть разумнее нашей выдумки? Надобно было привести тебя в такое положение, чтобы ты не осмелился произнести ни одного слова, а что было бы удачнее, как не поднять у тебя молодого турка? Опыт доказал, сколько мы были догадливы. Чтобы запастись нужною одеждою и нанять корабль до Каира, я успел у хозяина гостиницы повытянуть две тысячи цехинов, и к ночи готовы были кадий, четыре янычара и турчонок, который в самом деле был молодой грек, продавший нам себя на

целый день и ночь за четыре цехина.

Когда ты читаешь эти строки, то мы уже за сто миль будем от Стамбула по пути к Египту. По прибытии в Каир прежде всего намерены мы поклониться публично великому пророку, завести на общую сумму торговый дом, закупить прекрасных невольниц и зажить настоящими господами. Не должен ли ты восхищаться, что целых пять человек, беззащитных греческих бродяг, делаешь на всю жизнь счастливыми мусульманами. Когда вздумаешь посвятиться в монахи, к чему у тебя довольно склонности, то не забудь в святых молитвах своих смиренного Кириака с братиею“.

Я сидел в окаменении, как вошел веселый хозяин с кофеем. „Ну, что хорошего пишут из гавани?“ – спросил он, присев подле меня. „Тайны никакой нет, – отвечал я с притворным равнодушием, – а любопытного довольно. На, читай; тут кое-что и до тебя касается“. – Он схватил письмо и начал читать вполголоса, а я, прикушивая кофе, смотрел в лицо его внимательно. При каждой новости улыбающееся лицо его делалось пасмурнее, и когда прочитал; я цепе л у хозяина гостиницы повытянуть две тысячи цехинов, – то он побледнел, задрожал всем телом, выронил из рук письмо и закрыл глаза. Я схватил его обеими руками.

„Если и ты не лучше моего проводил, то выкушай

чашку кофе; уверяю, что нашедшая на тебя дурь мигом из головы вылетит“. – „Ох, горе! – сказал хозяин со стоном, – эти две тысячи цехинов составляли половину моего имущества! Что я, бедный, буду делать? Сейчас брошусь к кадию, отсчитаю пятьдесят цехинов и упрошу его уговорить визиря, чтобы злодеев искали по всему Каиру, опечатали б все их имение“. – „Пустое затеваешь. – прервал я, – разве для того грабители сделаются ренегатами, чтобы турки предали их в наши руки? Лучше всего успокоиться и поискать способов другим образом вознаградить свою потерю“. – Грек оставил меня со стоном, а я отправился к Оресту, учившему меня на корабле по-гречески и по-турецки. При расставанья нашем я, сверх значительно подарка, ссудил его тысячью червонными и на эту сумму надеялся удобно достичь Запорожской Сечи.

„Вот настоящая беда, – говорит мой педагог. – Два дня назад на все наличные деньги закупил я товару и караван отправил в Измаил, а завтра сам должен туда отправиться. У меня на дорогу не более осталось денег, как на прокормление себя и трех коней“. – Подумав с минуту, я восхитился родившеюся во мне мыслию. „Хорошо, приятель! – вскричал я. – Ты едешь в Измаил, и мне нужно быть недалеко оттуда. Ты здесь не чужестранец, подобно мне, и легко изворотиться можешь. Найди для меня пятьсот чер-

вонных, мы сквитаемся и поедем вместе в дорогу“.

Приятель мой весьма обрадовался столь выгодно-му предложению; в тот же день вручил мне требуемую сумму, и на другой день, оставя Стамбул, столько для меня намятный, отправились мы в путь в одной повозке. До конца нашей дороги не встречали мы ничего особенного. В Измаиле пробыв до наступления весны, я отправился далее и в свое время благополучно прибыл в Сечь Запорожскую под видом греческого купца.

Тайно виделся я с Клодием, Бернардом и Терезою. Я нередко видел и вас, дети мои, не будучи вами узнан.

Отрощенные усы, стриженные волосы и длинное платье вид мой очень много переменили, так что сначала и Бернард не узнал меня. Приведя в известность деньги, как оставшиеся у меня и у моих служителей, так и бывшие у них в товарах, я увидел, что их весьма недостаточно, чтоб всем нам проводить жизнь беззаботную. Обдумывая сей предмет с надлежащим вниманием и следуя всегдашней склонности к военной службе, которая одна удобна была залечить раны моего сердца, я решился просить войсковых старшин о принятии меня в сочлены. Меня благосклонно выслушали, вписали в список под именем Авенира Булата, и я вскоре явился в строю запорожцев, готовящих-

ся выступить в поход против турок, вследствие полученных повелений от царя московского. Клодий, не желая со мною расстаться и следуя моему примеру, принял греческое исповедание и под именем Вианора сделался запорожцем и встал в строе подле меня. Не лишнее будет прибавить, что он, лишь только получил от меня уведомление о перемене исповедания, то и вас троих приобщил к греческой церкви. Что сказать вам, дети мои, о воинских моих подвигах? Десять лет прошли почти в непрерывных походах против разных неприятелей, а иногда, не хочу греха таить, – иногда против самих малороссиян, хотя и против воли. Я постепенно был возвышаем в званиях и обогащался от набегов, хотя также без особенного искательства.

Имя мое было прославляемо, и по кончине последнего атамана я единодушно всем войском избран в это верховное звание.

Хотя устройство Запорожской Сечи сделано на тот конец, чтобы храбрые казаки защищали пределы Российские от беспрестанных нападений соседей, всегда хищных, всегда вероломных, однако и самые эти защитники, сколько по уродливому образованию правления, столько и потому, что почти половина их состояла из иностранцев, для которых выгоды России или ничего, или очень мало значили, нередко бывали ги-

бельнее для родных своих, чем неверные, а потому я для отведения от войска угрожавшей бури два раза бывал в Москве, и всякий раз мне счастливилось гнев царя православного обращать на милость. Я был приглашаем к столу его и на охоту и был столь счастлив, что заслужил его благоволение, а от окружающих его бояр приветливость и дружбу.

Узнав обстоятельно весь образ правления в Сечи, источники общественных и частных доходов, нравственность чиновников и простых воинов, я сказал самому себе: когда знатнейшие царства и республики пали в свое время, то как не последовать этого и с Сечью Запорожскою? Пройдет столетие, и, может быть, одним только географам будет известно место, где стояла некогда Сечь Запорожская.

Мне о самом себе заботиться еще нечего, но у меня подрастают три сына, которых благосостояние от меня должно зависеть. Обдумав предмет сей со всех сторон, я в последнюю бытность при дворе московском купил большое и богатое поместье в области Тульской и утвердил его на имена ваши, дети мои, имена, полученные вами в недрах греческой церкви. Я предположил продержатъ вас при себе до совершенного вашего возраста; но как во все это время проживать вам при Бернарде и Терезе и заниматься торговыми делами было бы для будущего состояния ва-

шего бесполезно и несообразно с вашим происхождением, то я приблизил вас к себе, сделал своими оруженосцами, брал с собою при всяком походе и был совершенно доволен вами после каждого сражения. Может быть, я и теперь еще вам не открылся бы, по ранней вашей молодости, ибо тебе, Астион, только двадцать три года, тебе же, Эраст, двадцать, а тебе, Кронид, семнадцать лет; но настоящее положение мое того потребовало, и вы знаете обо мне и о себе все, что вам на первый случай знать нужно. Если угодно будет всевышнему призвать меня к жизни, то я испрошу от войска всем нам увольнение, и мы отправимся в Тульское наше поместье; если же по всесвятой его воле ангел смерти смежит глаза мои, на такой конец объявляю вам последнюю волю мою:

От Вианора получите вы ключ от потаенной двери, ведущей в обширное подземелье под моим домом. Там, под видом хранения вина и других жизненных припасов, хранится весьма довольное имущество, в оружии, в серебре, золоте и драгоценных камнях состоящее. Там же найдете вы большое число книг и рукописей, собранных мною в Москве, а что всего важнее, там найдете вы ларец из черного дерева и в нем все бумаги, свидетельствующие о вашем происхождении и о правах на владение купленным мною поместьем. Вианору поручено доставить вам способ

отсюда освободиться и спасти все оставляемое мною имущество. Заклинаю вас, дети мои, жить между собою в согласии, без всякого раздела и даже не мыслить о том: это мое, это твое. Вы, конечно, будете иметь супруг и детей, но и этим последним завещайте, именем моим, исполнять эту волю мою до совершенного истребления нашего рода. Теперь ступайте в свой курень и ожидайте моего призыва».

Юноши пали на колена у одра недужного; с пролитием горьких слез облобызали руки его; он благословил их, и они удалились.

На другой день, около полудня, они, быв призваны к отцу, нашли его спокойным и даже веселым. Подле него стоял медик Сатир с видом самодовольствия. «Друзья мои! – сказал он, протянув руку, – если положиться на уверения этого пана доктора, то Запорожье не лишилось еще своего атамана». – «Так, – молвил Сатир, закручивая усы, – я боюсь памятью Иппократа, что через две недели ты будешь бодро сидеть на коне, кушать наливки и курить тютюн; только надобно поостеречься и за все не приниматься вдруг совокупными силами». – «Будь уверен, – сказал Авенир с улыбкою, – что совет твой с точностью исполнен будет». Он дал знак Вианору; этот вручил эскулапу кошелек с золотом, и веселый медик удалялся.

Предсказание его сбылось. Авенир день ото дня

становился здоровее и точно через две недели мог уже довольно бодро прогуливаться, заглянуть раз другой в кубок и выкурить трубки две табаку. Во всей Сечи повещено было, что в первый воскресный день Авенир будет в соборе публично благодарить бога за выздоровление, а после торжественно на церковной площади говорить речь к воинам, наконец же, он пригласит всех куренных атаманов и все войсковое начальство к себе на обед, а для простых казаков в каждый курень пошлется по бочке вина. С каким нетерпением все ожидали сего радостного дня! И он наконец настал.

Излишним считаю описывать, с каким торжеством Авенир, сидя на сильном турецком коне, окруженный всеми наличными чиновниками в Сечи, прибыл ко храму. По окончании благодарственного молебствия звон колоколов и гром из мушкетов⁷ поколебали воздух и стены храма. По выходе на крыльцо Авенир дал знак рукою, и все мгновенно умолкло. Он поклонился на три стороны и произнес: «Дети мои, казаки запорожские! двадцать лет я живу между вами и десять лет атаманствую. Я всегда был доволен вами; были ли вы всегда довольны мною?» – «Ура!» – загремело со всех сторон, и тысячи шапок поднялись на воз-

⁷ Так называются небольшие чугунные мортиры. (Примеч. Нарезного.)

дух. Авенир продолжал: «Благодарю бога и вас за то несравненное удовольствие, какое вы мне теперь доставляете.

Вы сами, конечно, чувствуете, что после сего для меня было бы смертельным ударом лишиться хотя отчасти вашей благосклонности. Но ах! это неотменно должно последовать. Вы видите, волосы мои белеть начинают. Признаюсь откровенно, что взоры мои темнеют; рука моя слаба уже наносить врагу такие удары, какие прежде наносила. Итак, дети мои, чтобы мне и в гроб взять с собою воспоминание любви вашей и признательности, я теперь в виду всеблагого бога, в виду священнослужителей алтарей его, в виду всего войска Запорожского – слагаю с себя торжественно звания не только атамана, но и простого воина».

Он умолк. Глубокое молчание господствовало повсюду.

Какое-то унылое негодование распростерлось на липах каждого. Все взглядывали друг на друга и с робостью потупляли взоры в землю. Авенир продолжал:

«Храбрые запорожцы! в этих трех молодых воинах вы видите трех родных сыновей моих. В московском царстве есть у меня поместье, достаточное прокормить меня с семейством. Вся цель остальной жизни моей заключается в том, чтобы сыновей своих видеть при дворе царя благоверного. За все труды, понесен-

ные мною в войске чрез двадцать лет служения, я прошу от вас, дети мои, согласия на удаление мое отсюда с детьми моими, с Вианором и тем имуществом, которое получил я от вас же при разделе добыч воинских. Благодарность моя за ваш подарок пойдет со мною за пределы гроба!»

Долго длилось глубокое, мрачное молчание. Наконец первенствующий священнослужитель, возвыся голос, произнес: «Я осмеливаюсь думать, что с нашей стороны была бы величайшая несправедливость воспрепятствовать знаменитому Авениру в исполнении его желания. Не имел ли он тысячи способов успеть в этом, не говоря никому ни слова? Итак, советую вам произнести свое согласие, я умоляю всеблагого бога – благословить оное!»

«Согласны! согласны!» – раздалось отовсюду; опять колокола зазвучали, муштры загремели, и Авенир, сопровождаемый многочисленною свитою, отправился в дом свой.

Великое пиршество продолжалось до самой ночи, и все разошлись по своим местам, довольны праздником.

Следующий день прошел в приготовлениях к дороге; и когда настало утро третьего дня, Авенир, его сыновья и Вианор пустились в путь. За ними нанятые чумаки вели двенадцать коней, навьюченных пожит-

ками. Бесчисленное множество народа провожало их далеко за город, а всех далее рыдающие Бернард и Тереза и их дети.

comments

Комментарии

1

...аркадская пастушка. – В идиллической поэзии Аркадия страна счастливых пастухов и пастушек.

2

...геркулесова наружность... обольстительна для всякой Омфалы. – Геркулес (Геракл) – герой античной мифологии, отличавшийся красотой и необычайной физической силой. Выл продан в рабство царице Омфале, которая жестоко издевалась над ним.

3

...египетскому Мемнону. – Имеется а виду статуя египетскому царю Амепофпсу, которая под влиянием изменения температуры воздуха издавала во время восхода солнца вибрирующие звуки.

4

Аргус – в греческой мифологии великан, обладавший множеством глаз, один из которых постоянно бодрствовал. В перекосном смысле неусыпный страж.

5

...землю камчадалов или караибов... – так названы жители Камчатки и островов Караибского моря.

6

...штофный халат... – т. е. халат из шелковой ткани с крупным тканым узором.

7

...тафтяное дезабилье. – Нижнее белье из тонкой шелковой ткани.

8

...древнего *Гераклита* – Гераклит (ок. 530–470 до н. э.), древнегреческий философ-материалист, представитель античной диалектики.

9

...подражать Демокриту – Демокрит (460–370 до н. э.), выдающийся древнегреческий философ-материалист.

10

...рыцаря века Карлова... – Речь идет об эпохе Карла I Габсбурга, который был королем Испании (1516–1556).

11

Юнона – римск. миф., богиня брака, материнства, супруга Юпитера, отождествлялась с греч. Герой.

12

Иксион – греч. миф., коварный царь племени лапифов в Фессалии, домогавшийся любви богини Геры (Юноны – римск.), за что понес жестокое наказание от Зевса.

13

...сам Пигмалион не мог бы одушевить Дианы! –

Имеется в виду герой античного мифа скульптор Пигмалион. Презиравший женщин, Пигмалион в наказание за это был поражен Афродитой страстью к им же созданной статуе Галатеи. Однако его любовь была так сильна, что прекрасная статуя превратилась в живую женщину, ставшую его женой.

14

...алжирского дея... – титул властителей Алжира и Туниса.

15

Булла – послание римского папы.